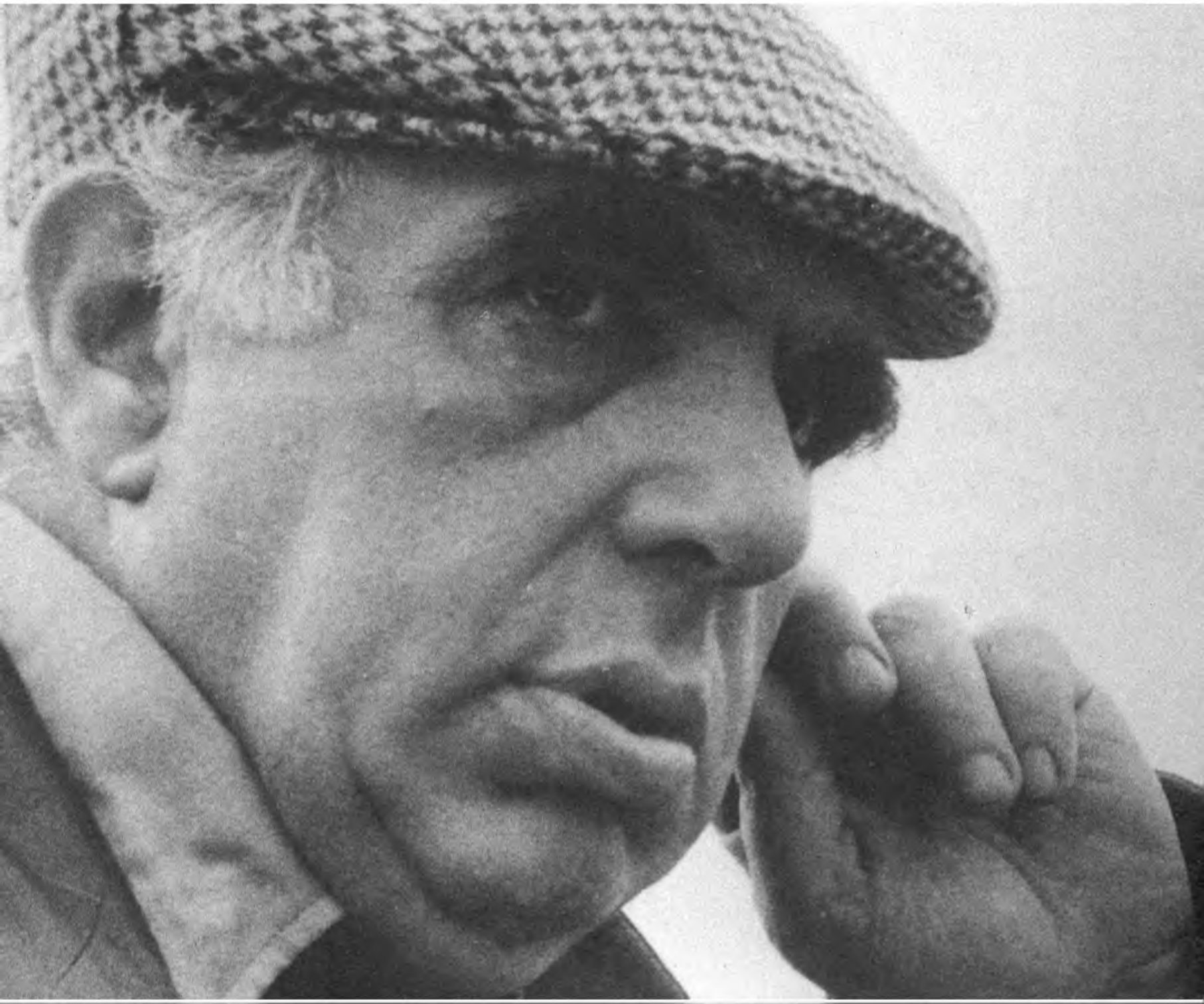


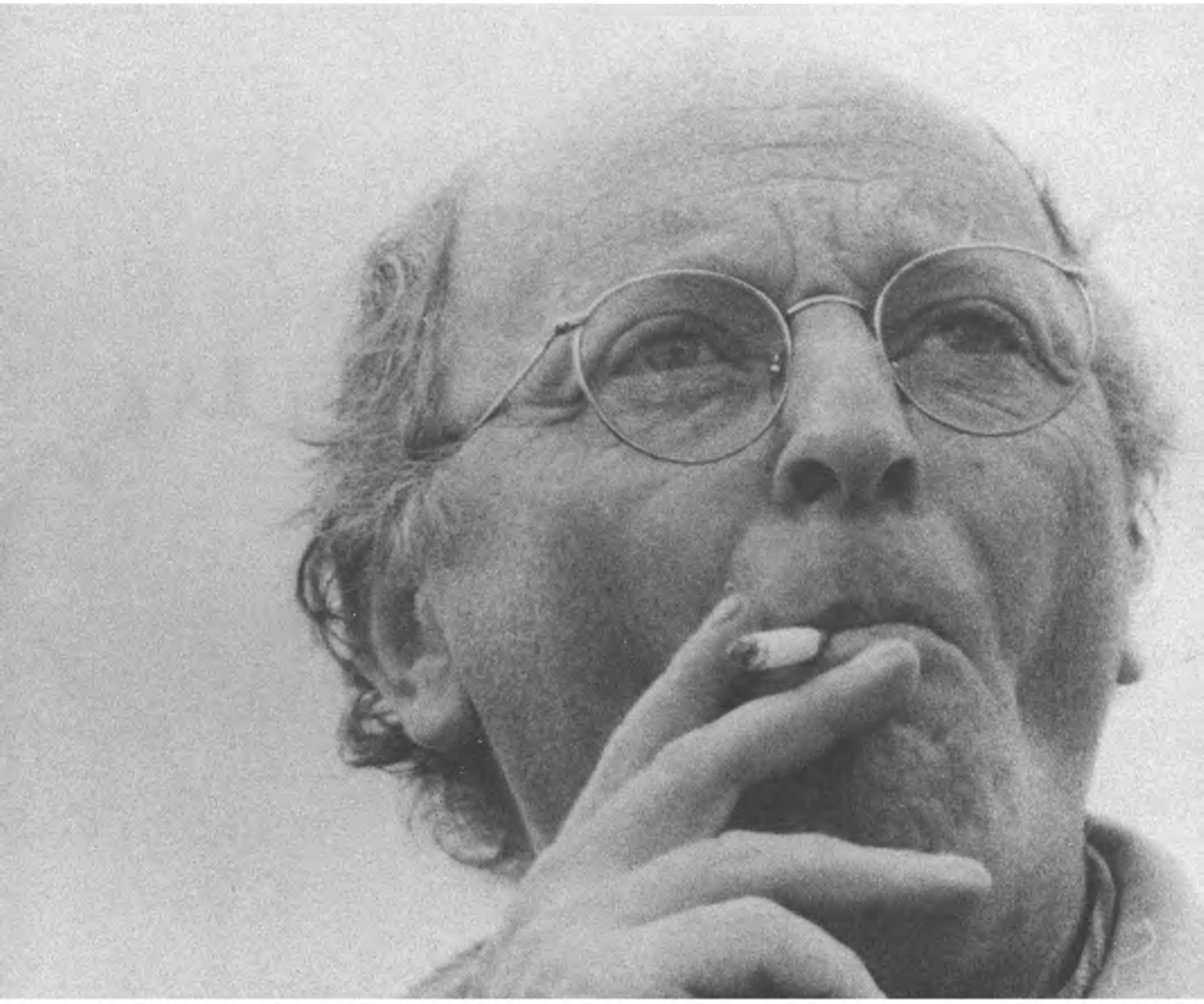


per sempre, un
quello. Messyrolente.

J. L. W. N. V.
Bae

Shelton R. R. R.





Joseph B. B. B. B.

ЕВГЕНИЙ РЕЙН
Мой лучший
адресат...

Москва

2005

ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Р34

Автор приносит искреннюю благодарность Михаилу Цареву,
благодаря которому осуществлено это издание

Автор выражает бесконечную признательность Марии Гадас

В оформлении книги использованы материалы
из личного архива Евгения Рейна

Рейн Е.

Р34 Мой лучший адресат: Стихотворения. — М.: ОАО «Типография «Новости»,
2005. — 288 с., ил.

ISBN 5-88149-213-7

Дружба истинных поэтов — нечто особое. Отношения Евгения Рейна и Иосифа Бродского — случай уникальный, оба ставили дружбу превыше всего, они не только искренне любили друг друга, но также искренне любили стихи друг друга. Началась эта дружба в конце 50-х годов, ее не прервал даже отъезд одного из поэтов в эмиграцию, шестнадцать лет общение происходило посредством писем и телефонных звонков. Поэтический и человеческий диалог не прекращался никогда. Стихи Рейна, так или иначе связанные с Бродским, сложились в книгу, в которой прочитывается история каждого из поэтов. Эта книга — дань памяти и любви.

ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 5-88149-213-7

© Евгений Рейн, 2006
© Оформление. А.Бондаренко, 2006
© Издание. М.Царев, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

«Придет апрель, когда придел апрель...»	13
Как Улисс	16
Истинный путь вокруг света	18
Глаз и треугольник	22
Истинный Новый год	39
Наука любви	42
Ленинградским друзьям	60
После нашей эры	63
Хроника. 1966	70
Любовь к лиловому	79
Шестое мая	81
В Новую Англию	84
Три воскресенья	86
Вопрос	103
В Павловском парке	106
«Переходя ручей среди заснеженного поля...»	110
«Такси металось по московским палестинам...»	112
«Нижнее кафе»	114
В парке	117
Прицел	118

Второе мая	123
Мальтийский сокол	130
Джим	154
Завтрак на балконе	158
«На старой-старой хроникальной ленте...»	160
Дом Мурузи	162
В старом зале	164
Автору «Урании»	167
Японское море	170
Венецианский кот	173
Голос	176
«Прости за то, что слабый, старый...»	177
Эпитафия-2	180
Миланский собор	182
Голоса	191
«Небольшая толкучка на Бликер-стрит в Гринич-Виллидж...»	204
«Сидя в Нью-Джерси, в Айронии...»	205
«Арарат»	207
«В северной деревне за седьмым перекатом...»	213
«В Летнем саду над Карпиевым прудом в холодном мае...»	215
24 мая	217
«Скала мореного дуба, притворившаяся буфетом...»	219
21 декабря	220
«Все подсчитано — сколько чашечек кофе...»	222
Контора	223

Зеро	226
Ресторан «Русский самовар» в Нью-Йорке	233
«Флориан»	235
Четыре главы с эпилогом	236
«Было нас, помнится, пять человек...»	255
Земляной вал	256
Спичечный коробок	257
«Жемчужно-серый и малиновый...»	261
Хитроу	263
Трубная площадь	265
То и это	267
Набережная	269
Комната Лосева	273
Фонарный переулок	275
Раннее утро	277
Пейзаж	278
«Через море видится все ближе...»	281
<i>Надежда Рейн. DEUS CONSERVAT OMNIA</i>	283

Под северным небом яснее всего,
что нету совсем ничего. Ничего.



И.Бродскому

Придет апрель, когда придет апрель,
давай наденем старые штаны,
похожие на днища кораблей,
на вывески диковинной страны.
О, милый, милый, рыжий и святой,
приди ко мне в двенадцатом часу.
Какая полночь! Боже, как светло!
Нарежем на дорогу колбасу,
положим полотенца и – конец.
Какое нынче утро нас свело!
Орган до неба, рыжий органист,
играй мне в путь, пока не рассвело.
Так рано, до трамваев и авто
мы покидаем вялый городок.
Та жизнь уже закончена, зато
нас каменный ласкает холодок.
Какое путешествие грозит:
за черной речкой бледные поля.
Там тень моя бессонная сквозит.

Верни ее – она жена твоя.

Садись-ка, рыжий, в малый свой челнок,
за черной речкой – тьма и черный свет,
за черной речкой там черным-черно,
что одному пути обратно нет.

Я буду ждать вас, сколько надо ждать,
пока весло не стукнет по воде,
я буду слезы жалкие глотать
и привыкать к послушной глухоте!

Но ты вернешься, рыжий, словно пес,
небесный пес, карающий гремя.

«Я нес ее, – ты скажешь, – слышишь, нес.

Но нет ее, и не вини меня».

Тогда пойдем вдоль этих тяжких вод
туда, где по рассказам свел Господь
людей-енотов, ящери-народ
и племя, пожирающее плоть.





КАК УЛИСС

Когда садишься в новый самолет,
Когда влезает в рыжий грузовик,
Когда выходишь задом наперед
Ты из дверей облупленных своих,

Ты покидаешь родину. Тебе
Какое путешествие грозит,
Но ты про это позабудь теперь,
Пока влезает в рыжий грузовик.

Ты покидаешь родину. Она
Как будто бы, ленива и скупа,
Прохладная и вялая страна,
Что смотрит на тебя из-за угла.

Но это все сплошные пустяки,
А вот, когда у моря ты сойдешь,
Тогда уж точно ты остерегись,
Иначе ты, должно быть, пропадешь.

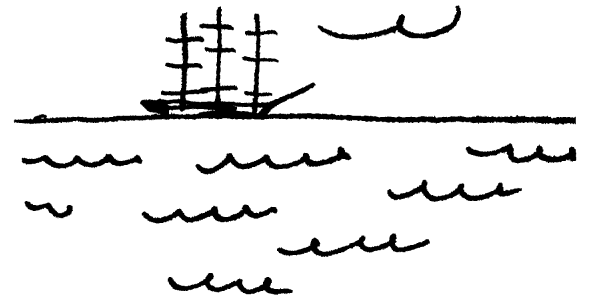
Тебе так скоро станет все равно,
Забвение устроится в груди –
Там женщины вкуснее, чем вино,
И музыка приятнее любви.

Расположившись между двух сирен,
Бессмертием укрыт до головы,
Ты переходишь в непробудный плен
Воды и страсти, света и травы.

Под черной вазой бронзовых небес,
У круглой ослепительной воды
Ты глянешь через лень свою и спесь
В ту сторону, откуда прибыл ты.

И скажешь ты случайно: «Боже мой!
Немедленно, немедленно домой!»
И станешь повторять ты: «Боже мой!
На Итаку! Домой, домой, домой!»

1963



ИСТИННЫЙ ПУТЬ ВОКРУГ СВЕТА

И.Б.

Отправиться узенькой речкой, притоком огромной реки.
Там сладкого дыма колечки, буфеты, каюты, звонки.
Сидеть в парусиновом кресле, разглядывая берега,
И мачты спасательный крестик на фоне небес теребя.
А тент мой то скрипнет, то вскрикнет, сирена завоет слегка,
О, я, уплывающий скрытно, зачем моя жизнь не сладка?
Зачем не мужицкая драка, зачем не фамильный запой,
не лета цветущая арка, построенная зимой?
Я рупор возьму капитанский, а губы сердечком сложу,
вдыхая металл скипидарный, я все на прощанье скажу.

— Прощай, мой приятель, ты ешь или спишь,
но утром такая туманная тишь,
что ты, вероятно, услышишь.

Прощай, мой приятель, я рад повторять
всё то, что случилось, дотошно, подряд.
Когда я отчалою, поедешь и ты
от черной печали до твердой судьбы,
от шума вначале до ясной трубы.

сиянье, сиянье, сиянье, отныне и присно навек!

Река меня катит вторая, и рыбы глядят изнутри,

и, плавно хвостом ударяя, они повторяют: — Смотри,

Тут воды, как духи, бесплотны, а мы и не рыбы совсем,

а твой парходик нескладный в реке, точно в тверди, засел.

— Прощай же, домашнее диво, мой идол прощай меховой,

спасибо, ты слышишь, спасибо, что я не любил никого,

что, если я стану терзаться, не вынесу, если стыда,

одна ты воздушным трезубцем погубишь меня навсегда.

И вот я сбегаю по трапу, сажусь в голубое авто,

и всё, что имею, я трачу и плачу в крахмальный платок,

Стеклянные улицы эти, коричневый старый кирпич,

как слезы в сургучном пакете, песок под ногами хрустит.

Под куполом вьется Спаситель в сандалиях и робе своей,

Спаситель, который насытил своих сокрушенных детей.

— Спасибо, Спаситель, спасибо, Ты честное слово сдержал.

Тут очень, Спаситель, красиво, и купол, и фрески, и зал.

Когда Тебе будет угодно, зови, я прикрою дела,

с Тобою, Ты знаешь, охотно, как надо, в чем мать родила.

Однако теперь, понимаешь? Всё это устроил Ты Сам!

Зачем Ты часы вынимаешь и жутко стучишь по часам?

Пора мне, должно быть, и снова в авто голубом на бегу,

Как первое ясное слово я это лицо берегу.

Пади же, железная штора! Я вижу на мягкой стене,

как скоро, предательски скоро, лицо переходит ко мне,
в стекло поглядится и словно помадой подводит губу.

Как самое темное слово я это лицо берегу.

А ночь наступает внезапно, и в мутной ее духоте
вплывают и жалость, и жадность, две рыбины в пресной воде.

— Смотрите, отважные рыбы, — аквариум, спальня, дворец!

Всё в жизни сбывается, ибо всегда наступает конец.

И та, что к подушкам приткнулась, зарылась в любовь с головой,
не знает, что вновь окунулась в течение реки круговой.

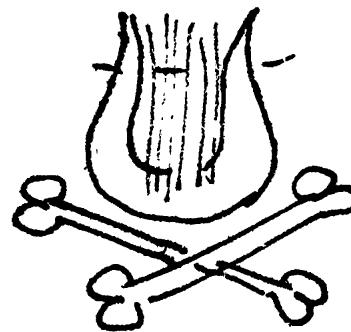


ГЛАЗ И ТРЕУГОЛЬНИК

И, наконец, нашел он, что искал,
свой долгожданный солнечный привал,
скамейку на пустынном берегу
реки, перегибавшейся в дугу.
Реки... Но разве тут была река?
Заваленные хламом берега,
вода в полыньях — словно нефть, а лед
окрасил ржаво газовый завод,
артель оставила чернильные мазки,
и автобаза — черные мостки.
Апрельский день ломался пополам,
вдали стоял трамвайный тарарам,
и было удивительно тепло,
зима прошла, что было, то — прошло.
Подумал он: «Опять полно забот,
вот на носу весенний поворот,
опять рубашки, плавки, пляжи, вот
опять весна, опять полно забот.
А, может быть, не стоит хлопотать?»

Ну, пусть весна, ну, пусть она опять.
Припомни, был невероятный год,
все обернулось задом наперед.
Отныне, может, все пойдет не так.
В чем дело тут? Задумайся, дурак.
Как жил я, — он подумал, — кое-как,
Бывало славно, в общем — кавардак.
Но с каждым годом было все темней,
как будто я спускался в мир теней,
как будто бы кончался мой завод,
и кончился последний этот год».
И вдруг он догадался, и лицо
он повернул, как вертят колесо.
Одна щека была в тени темна.
И тут ему открылось все сполна.
Он понял, что весны не пережить,
и труп никто не станет ворошить,
как прежде паспорт будет при тебе,
пиджак на месте, смерть — везде, везде.
Смерть наступает возле тридцати,
И никому ее не обойти.
Реальны ад, чистилище и рай.
До тридцати все это выбирай.
А там — итог: спасен иль виноват.

И входит смерть — твой верный космонавт.
Не похоронен ты, как на войне,
но это смерть, и даже смерть вдвойне.
И кладбище не нужно ей, она
и без того достаточно сильна.
А, кстати, кладбище отсюда — два шага,
Мне приходилось там бывать, когда
я приезжал на остров Голодай.
А ну, припоминай, припоминай!
И первое, что там увидел я, —
«Да будет воля, Господи, Твоя» —
Так выбито на плитах и крестах,
на изгороди, на траве, в кустах
Примерно то же можно прочесть,
коль угол зренья верно рассчитать.
Набор сих слов, конечно же, не плох,
но тут как раз и кроется подвох.
Он существует, но безволен он.
А может быть, он слишком утомлен,
и после сотворенья он уснул,
и неприступен высший караул.
Не будет воли, Господи, Твоей —
вот адский ход, и нет проклятья злей.
Да будет ваша воля — вот слова,



и пусть они намечены едва,
они — закон, и нам держать ответ
посередине жизни, в тридцать лет.
Того ничьи рыданья не спасут,
кто прозевает этот Страшный суд.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Как подданство он галстук выбирал,
четырежды переменил рубашку,
и все же не на бал, а на вокзал
спешил тот франт, внезапно отъезжавший.
Накрывшись одеялом до ушей,
ворочаясь на поездной перинке,
который час хотел он спать уже,
но в поездах не спал он по старинке.
Ну, а сейчас особо не спалось.
Ну, как Москва его наутро встретит?
Быть может, без него там все сбылось?
Тогда рассвет ему совсем не светит.
Как быть тогда? Остаться тут навек
и прививать Москве свою породу?
Дымил фонарь, летел спиралью снег,

проводники бежали по перрону.
От маковок до тротуарных плит
Москва покрылась золотом и снегом,
и был по ней такой покой разлит,
что он бы шел за ним вовеки следом.
Конечно следом — он недостижим,
но даже там, где тень его маячит,
расходится блистающий зажим,
зажим, в котором наши души плачут.
По щиколотку снегом замелось
Замоскворечье, но сияли плечи.
Подумал он: «В столь сладостный мороз
мне рассказать все это будет легче».

А тот, другой, он ничего не знал,
не знал, какой ему рассказ припрятан,
но все же был невесел он и снял
смешную шапку с мехом неопрятным,
и рыжий ёжик кротко оголил.
Метель Москвы едва волос коснулась.
И в этот миг один заговорил,
а у другого жизнь перевернулась.
Всё в мире тот проспект соединил:
вокзал, и мост, и дом семиэтажный,



и даже дворник, мусор заметавший
тут проявил совсем особый пыл.
Асфальт лежал как новый серый лацкан
на пиджаке приличного шитья.
Пусть рыжему и не было житья,
но кто-то был одобрен и обласкан.
Чёт, нечет — справедливость тут как тут,
а жалобы глупы и неуместны.
И только жены, шлюхи и невесты
те жалобы дурацкие поймут.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Когда все это обернулось так,
что рыжий жил на подмосковной даче
и всякий раз подбрасывал пятак,
судьбу мороча, так или иначе.
Все ясно было или все равно:
дела решились, очищались дали,
тогда-то рыжий выглянул в окно,
и сонный франт махнул ему в печали.
Вы помните, тот самый, что не спал
под стук и бег локомотива ровный,

он до Москвы рассказ свой составлял.
Я приведу его рассказ дословно.
Тревожно начал он со стороны,
вертел, крутил, пока дошел до сути, —
и пусть его — тут нет большой беды.
Попробуйте, а после обессудьте.

Франт:

— Ты, знаешь, рыжий, этот Новый год
был как-то странно, безобразно ярок.
Я в праздниках и сам не новичок.
но голова кружилась от помарок.
Хотели снять какое-то кафе,
раздумали, решили: в мастерские,
потом: квартира, дача, и в графе
еще стояли Дом кино и Киев.
Хотели ехать в Киев, два часа
идея эта распаляла споры.
Но все-таки сложились голоса
за пригород, за этот дом, который
тебе известен более, чем мне,
за эту дачу на обрыве ветхом.

Тридцатого я прислонил к стене
словый ствол и дал свободу веткам.

Откуда-то — и сам я не пойму —
собралось денег до смешного много.
А впрочем, допускаю: потому,
что в эту ночь предвидели, как ноготь,
точенной лункой алый маникюр,
что подведет черту и все отпустит.
И в разговоре даже промелькнул
стежок пустой и обреченной грусти.
Как будто все наметили уже
Спасителя, Иуду и Голгофу,
и даже я вчерне, в карандаше
вообразил разбой и катастрофу.
Но все-таки, средь нас кружила мысль,
что он — распят, а вот спасенье — близко.
И потому икры зернистой мыс
стоял в кругу коньячных обелисков.
Когда транзистор Спасский звон донес,
двенадцать стукнул и помчался мимо,
до жалости, до одури, до слез
мне стало ясно — все неотвратимо.
Как раз напротив я поставил стул...

Когда же был закусок строй обглодан,
впервые откровенно я взглянул
на обладателя ботинок марки «Лондон».

Пусть о несбывшемся еще я говорю,
но разве я — шлагбаум полосатый?
Я — понятой событий, повторю
ход времени и стану сам засадой.
Пока ботинок простодушный стук
хозяина мне с головой не выдал.
Я поглядел угрюмо, словно в люк,
и то, что я предвидел, я увидел.
Рубашки кристаллический крахмал
растегнут был, и развязался галстук.
Приемник только что нашел хорал,
и от органа распирало пластик.
Я на нее взглянул и на него,
мне нимб белесый показался страшен.
Они не пощадили ничего,
они забили дверь за днем вчерашним.
Они венчались на измену, на
прелюбодейство, на позор и сладость.
Все было кончено, и радиоволна
гремела так, что было с ней не сладить.

И кто-то ручку злобно повернул
и заодно, как пионерский лагерь,
вскочили мы, и пьяно нас качнул
какой-то мутный, как отрава, шлягер.
А дальше все смешалось и пошло
путем обычным, шумным и дурацким.
И только я, событиям назло,
как идиот, их разлучить старался.
За елкой на заснеженном стекле
они прогрели маленькие дыры
и, как бы говоря о пустяке,
мою бестактность вяло осудили.
И вдруг поймал я столь бесстыдный взор,
что мне сей угол показался адом,
и я подумал: «О, какой позор,
стоять со сладострастьем этим рядом».

Она догадку медленно прочла
и улыбнулась, устранив сомненья,
и с елки свечку красную сняла,
и на секунду мы покрылись тенью.
И вдруг она в волнистый пыльный тюль,
ту занавеску, что висела криво,
внесла свечу, сквозняк огонь раздул,

и стало поразительно красиво.
Окно пылало, мы могли сгореть,
а домик превратиться в пепелище.
Я дернул занавеску, и на треть
от кружева отпал кусок, деливший
все, что случилось, на две трети сна,
на треть одну истомы и покою.
Когда глаза я поднял, шла она
в пустую спальню с красною свечою.

.....

А франт вернулся к пьяному столу,
где засыпали рюмки и консервы,
где дамы ели только пастилу,
неотразимо распустив корсеты.
Он поглядел на опустелый край,
где только что сидели эти двое,
и у нее еще потел «токай»
и холодильник свое стекло резное.
Светила на тарелках чистота,
не до еды, конечно же, — в преддверье.
Куранты объявили три часа,
застольные фигуры поределели.
Лишь франт сидел в горелых кружевах,
и спутница его, глаза сощуриив,

его ждала, окурок разжевав
и нечто необычное почуяв.

А франт прикидывал, как там они стоят,
ботинки «Лондон»: развернув подошвы,
обвитые чулком, на первый взгляд
Лаокоон напоминают пошло.

И этот юнга в трусиках своих,
счастливый фаворит, жокей, насильник,
пусть он хорош, как мало он красив
среди всех ее желаний ненасытных.

Но все-таки, он это выбрал сам,
и он за все получит по заслугам.

Франт захмелел, и дымный зимний зал
ему внезапно показался лугом

Он даже различил кусты и тень —
спасение на этом солнцепеке.

И так как дом затих и опустел,
он сел у ног любимых на циновки.

.....

Они дошли до людных площадей,
где снег январский в жижу был растоптан,
и в сумерек московских нищете
огни веселья зажигались оптом.

А рыжий шапку так и не надел,
а нес в руке и гладил, как котенка.
И франт умолк. Он пить и есть хотел,
но он не знал, верна ли подготовка.
Возможно ли позвать его с собой,
когда душа его в таком овраге?
Когда же оказались на Тверской,
решился он и повернул к «Арагви».
И столик стал на Грузию похож,
на ту, что видишь с авиакорвета —
хребет — сациви, Терек — это нож,
шашлык — Тбилиси, водка — это Мцхета.

По первой рюмке выпили они,
и, хреном поливая осетрину,
на скатерть рыжий вилку уронил
и выставил графин на середину,
потом — тарелку, соусник, лаваш, —
он очищал себе какой-то угол.
«Без кафедры не может рыжий наш», —
подумал франт, уставившись на друга.
Он быстро выпил раза три подряд
и, проглотив шашлык и сыр отважно,
он тоже отодвинул свой салат, —
пусть рыжий говорит, ведь это важно!

— Ты думаешь: как мне, такой вот рассказ?
Ну, я ошарашен, ну, искры из глаз,
все это не то, и кошмар разложив,
я больше всего понимаю: я жив.
Теперь пусть попросят, плевал я на все,
на чертово бросят меня колесо.
Оно заскрипит, завизжит, побежит.
Меня убивают. Зачем же я жив?
О, как же я сразу не сообразил —
тут пахнет убийством, тут зелень могил.
Ты думаешь, ну, разошелся, трепло!
Но это похуже, чем нож под ребро.
Бывает, что нож не дойдет до кости,
случается, можно удар отвести.
Тут все погибает, а прошлое жжет,
тут нож не терзает, а только стрижет.
Тифозная память свежа, как пустырь,
разбой, как больница, тебя отпустил.
Ты будто хорош, но черед настает,
к тебе подступает актерство твое,
как будто прощенье, как в холод пальто,
конец, пробужденье, и все же не то.



Когда я останусь и вправду живым,
то старым суфлером, псом сторожевым
я стану. И будка, где время как дым.
Я там отсижусь, а потом поглядим.

.....
Пройдя меню до голубой доски,
уж за полночь они домой пустились,
когда они нашли свое такси,
все было мрачно, кончено, пустынно.
Один плашмя на свой диванчик пал,
к шоферу рыжий, тот включил копейки,
и счетчик заработал и стучал
до той — той самой — солнечной скамейки.
Скамейки на пустынном берегу
реки перегибавшейся в дугу.
И как бы ни был тот, что сзади, пьян,
и пусть совсем не понимал нимало,
но счетчик, лилипутский барабан,
стучал, и в голове его стучало:
«Не-будет-воли-господи-твоей-
вот-адский-ход-и-нет-проклятья-злей-
да-будет-ваша-воля-вот-слова-
и-пусть-они-намечены-едва-
они-закон-и-нам-держат-ответ-
посередине-жизни-в-тридцать-лет».

.....
Большие страны терпят баловство.
Линейкою на карте, словно школьник,
соединить бы франта и того,
и рыжего — и выйдет треугольник.
Огромный, от арктических лесов
к лесам иным и городам столичным.
И на вершинах каждое лицо
покажется размытым и оплывшим.
Какая даль! Какая, Боже, даль!
И мертвый свет как вспышки автогена.
К концу рассказа я признаюсь: жаль,
что столь реальны рай, позор, геенна.
Но грани треугольника тверды,
и как бы это ни было жестоко,
несокрушимы.

А меж них, внутри,
вписалось сонное Божественное Око.
Оно устало, страшный суд верша,
и в темноте нагой и предрассветной
на всякой грани выживет душа,
и Око вспыхнет волей милосердной.



ИСТИННЫЙ НОВЫЙ ГОД

Мой лучший адресат

И.Б.

Уже переломился календарь, видна зимы бессмысленная даль.
К морозу поворот, и Новый год, и множество еще иных забот.
Держаться надо, надо в декабре, когда снега и сумрак на дворе,
и за окном бесчинствует зима. Держаться надо — не сойти с ума.
И надо одеваться потеплей, и надо возвращаться поскорей
к себе домой, где греется обед, и закрывает нас от всяких бед,
зимы и вьюги, теплая жена, где все за вас — и крик, и тишина.
И, к двери осторожно подойдя, сказать себе, минуту погодя:
«Нет рано еще, рано, не пора». Зима, зима — ужасная пора.
Шепнуть себе: «А скоро ли?» — «Едва ль».

А между тем поблизости февраль,
и лед уже слабеет на реке, и ваш сосед выходит в пиджаке
и, распаяясь, говорит про то: «Мол, хватит, будет, поносил пальто».
Тут надо приготовиться всерьез, хотя трещит на улице мороз
и инеем карниз совсем оброс, зима крепка, как медный купорос.
Но это только видимость одна. Вот Парка отведет с веретена
последние витки. Апрель, апрель вступает в календарную артель.
Тут надо выйти в сад или в лесок, лучам подставить бледное лицо,
припомнить все: Египет, Карфаген, Афины, Рим и этот зимний плен

среди четырех своих коротких стен, где жили вы совсем без перемен.
Но тает снег у черных башмаков, и ясно вам становится, каков
невнятный запах прели и травы — в апреле вы жестоки и правы.
Все ящики, шкафы и сундуки — вплоть до последней потайной доски
раскрыты этим вечером. Конец. На веточке качается скворец.

В последний раз ты за своим столом,

в последний раз ты возвратился в дом,

в последний раз пирог несет жена, в стакане поперек отражена.

Она уже покинута, она осталась с отражением одна.

Закрой глаза и сделай первый шаг.

Теперь открой — пусть непонятно, как

ты очутился на чужой земле, в чужом необитаемом селе,

в огромных тошнотворных городах, в которых ты расцвел, а не зачах.

Пусть непонятно, как добрался ты, твои перемещения просты —

от смерти к смерти, от любви к воде, от стрекозы на женском животе
к чудовищу на сладостном холме, чье тело в чешуе и бахrome.

И далее, к просторным островам, на берегу там высится вигвам,

там дочь вождя, кино по вечерам, считаются года по деревьям.

И вот уже сосчитан целый лес, изведаны утехы всех небес:

забвенья сферы, облака тщеты и неба обнаженной красоты,

душистой тучи праздного греха. Но эти сферы просто чепуха

в сравнении с другими, где душа пороку предается, не греша,

а познавая свет и благодать, которых никогда не разгадать.

Но в тридцать третьем небе есть порог, за коим веет зимний ветерок,

и мечется поземка, и уже окно горит на пятом этаже.
А это значит — близится зима. А кто огонь зажег? Твоя жена.
Похолодало. Завывает мрак. Ты понял все, когда ты не дурак.
Домой, домой, где печь, постель, супы. Скорее тот порог переступи.
Тут все, как было, точно, как тогда — вот на столе обычная еда,
а месяцы прошли или года, тут это не оставило следа.
Пока небесный виден хоровод, в последний раз взгляни на небосвод,
твоя звезда, бледнея и дрожа, похожа на лучистого ежа,
в морозной мгле уходит быстро вниз. Она тебя оставила — держись.
В два миллиона зим идет зима. Держаться надо — не сойти с ума.
Уже переломился календарь. Видна зимы бессмысленная даль.

1965

НАУКА ЛЮБВИ

И.Б.

Великий поэт Рима Публий Овидий Назон родился в 43 году до нашей эры в Сульмоне. В том же году погиб Антоний. Назон принадлежал к среднему сословию всадников, однако занимал высокое положение в римском патрицианском обществе, благодаря тесным и весьма загадочным отношениям с дочерью императора Августа Юлией и его внучкой Юлией Младшей. Назон был своим человеком во дворце, и его знаменитая «Наука любви» была написана для узкого кружка дворцовых весельчаков.

Книга эта была хорошо известна в империи, тем удивительнее, что через десять лет после ее публикации Август сослал Овидия в Томы (нынешняя Констанца), вменив ему в вину «сочинение аморальных стихов».

Это и есть знаменитая тайна Овидия. Между поэтом и императором произошло что-то столь не поддающееся огласке, что даже названия своего проступка Овидий не смел произнести. Обеих Юлий также постигла опала и высылка из Лациума.

Девять лет провел Овидий на Истре-Дунае, ежедневно ожидая помилования. Он был избран почетным гражданином Том и занимал в городе весьма достойное место. Однако разлуки с Римом

Назон не перенес. Он умер шестидесяти лет в Томах, и могила его затерялась.

Мой лучший адресат

В поэме использованы:

Цитаты из «Науки любви» в переводе автора.

Описание сюжета овидиевых «Метаморфоз» от всемирного потопа до вознесения звезды Цезаря на небеса.

Конец «Метаморфоз» в переводе С.Шервинского.

Шесть строк И.Бродского с его благосклонного согласия.

*Я, поэт Назон, лежащий здесь, певец нежной
любви, погиб из-за своего таланта.
А ты, прохожий, если ты любил, не потяготись
сказать: «Да покоятся безмятежно кости
Назона!»*

Легендарная автоэпитафия

В теплой и милой стране я речь о тебе начинаю.

Мирно стремится Дунай, Истром известный тебе.

Что же ты столь горевал?

Этот край незлобив и приветлив.

Все-таки, правда твоя, я же в суждениях скор.

Первый покинул ты Рим, я из Третьего Рима приехал.

Ты — навсегда. Я же, надеюсь, вернусь.

Правда, конечно, твоя: я всего — ничего на Дунае,

Ты же на Истре провел девять несчетных годов.
Пусто и бедно ложатся латинские долгие стопы,
Стыдно дыханье твое варварским горлом впивать.
Да и к чему? Есть у нас стих молодой и чудесный,
И молодому ему рифма в подруги дана.

* * *

На семи своих холмах,
Образованный волчицей,
Разместившийся в домах
С невредимой черепицей
Ты стоишь, солдатский Рим,
Патриот и потребитель,
Охраняя дом и дым,
Материнскую обитель.

Не спешит житье-бытье,
Все на свете бьет упрямство,
Равнодушное твое
К переменам, государство.
Где республиканский пыл
Горячил сограждан строго,

Поднимает только пыль
Императорская тога.
Там, где Цезарь сыт и пьян,
Повалился на паркетик,
Правит лишь Октавиан —
Хитроумец и брюнетик.
Потом, гноем и войной
Дует из твоих колоний,
В Лациуме дух иной,
Смоченный в одеколоне.
Запашок парфянских роз
И египетских притинок
Понимает всякий нос,
Каждый смазанный затылок.
Рим отцовский чтит завет,
Кровь и силу уважает,
Приглашает на обед,
И на ужин приглашает.
Чтит афинских мудрецов,
Учит фокусы Востока,
Поминает гордецов,
Залетавших так высоко.
Повалить на свой диван
Рим кого угодно волен.

Отчего Октавиан
Этим Римом не доволен?

* * *

В Риме можно процвести; даже, если не патриций,
Получай покой и чин, популярные замашки.
Коль освоился уже с умножения таблицей,
Проведешь достойный век в государственной упряжке.

В Риме тоже можно жить, сколько в нем людей приятных —
Гладиаторов, купцов, ликторов, легионеров,
Литераторов, жрецов, дам доступных и опрятных,
Праведников, крикунов и рабов закоренелых.
В Риме любят рассуждать, также в Риме любят слушать.
В Риме любят разговор, обожают спор горячий.
Но гораздо больше любят пить вино и мясо кушать,
Хоть вино и мясо — это не Вергилий и Гораций.

Знает это дядя Август и рассчитывает крепко:
«Императорскому Риму подобает величавость!»
В Колизее диким тварям заготавливают клетку.
Объявляет дядя Август: «Я за клетку вам ручаюсь.

Дорогие львы и тигры, и сограждане родные!
Чем прочнее эти прутья, тем и вам и нам удобней.
Тот, кто обломает зубы, хрупкие и молодые,
Тот и далее не будет развивать своих утопий».

Все продумал мудрый Август. Рим, как воск его ладоней,
А на самом деле все же Рим — могучее железо.
Хорошо, что сгинул где-то легкомысленный Антоний,
Хорошо, что задушили омерзительного Креза.
Хорошо, что легионы так сильны и безразличны.
Хорошо, что Рим возможно от новаторов избавить.
Хорошо бы также свитки и листочки, и таблички
В духе долга и морали постепенно переправить.

От суровых старых лет заpastись бы новой славой,
Обуздать обжор в обедах, триумфатора в парадах.
Хорошо бы сделать Рим поднебесною державой,
Хорошо и во дворце бы тоже навести порядок.

* * *

Август, как тебе помочь?
Весь твой дом — смешная штучка.
Тут ложится Юля-дочь,

Там ложится Юля-внучка.
В эти спальни не сверни,
А сиди один в обиде.
Ходит, хлопает дверьми
Отвратительный Овидий.
Он, как рыба в глубине,
Как судак в нагретых плавнях,
Норку выклевал в говне,
Присосался в этих спальнях.
Спит он там или не спит?
Разве дело только в этом!
Лизоблюд и паразит
Лезет со своим советом,
Лезет со своим стишком,
Со своим спешит словечком,
Выступает пастушком
Запрокинутым овечкам.
Учит бедра и живот
Всей грамматике лежачей.
Припеваючи живет,
Удивляя Рим удачей.
Мы ему собьем фасон,
Выблюем его отраву.
Обожди-ка, друг Назон!

für Eugene Reik
zum
der gedichtes Joset
Brodsky



На тебя найдем управу!

* * *

Как быть нам в этом Риме вздорном?

Зачем мы ропщем?

Ведь нас не закуют, не вздернут,

А впрочем, впрочем...

У Рима есть еще законы!

Не в этом дело.

Они иные куют оковы,

Им мало тела!

Они твердят:

«Лишь меч и панцирь —

Всем мерам мера».

Они хотят

бездарной басней

затмить Гомера.

Они кричат: «Тоска нас гложет

по дням великим!»

Но это ложь. Ведь Рим не может

стать снова диким.

В Риме тоже можно жить, можно жить совсем не худо.
В Риме тысячи забав, и у каждой — варианты.
Выбирай себе и пробуй, не соскучился покуда,
Варианты Леды, Ио, Андромахи, Ариадны.
Хороши и все подряд, впрочем, все подряд — сугубо!
В Риме правду говорят лишь одни срамные губы.

В Риме нужен всякий грим, и румяна и белила,
И любая мебель — ложе, от скамейки до престола.
Жаль, что граждане поспешны, а гражданки так ленивы.
И они всегда готовы выбрать самое простое.

Простодушный дух пенатов и солдатскую сноровку
Принесли они и в эту восхитительную область,
Надо повернуть глаза их в азиатскую сторонку,
Надо объяснить, что это — тоже мудрость, тоже доблесть.

Что не ниже геометрий и фигурок Пифагора,
И не хуже вычислений и машинок Архимеда
Та наука, что совместно и хитра и непритворна,
Та, что даже Рима больше, а как будто не приметна.

Та наука, что подходит всякий вечер к изголовью
И спускается оттуда, забавляясь, к подножью.
Назовем науку эта по-старинному любовью.
Дать ей истинное имя, в самом деле, невозможно.

Что Восток? Восток — загадка. Даже в маленькой Элладе
Изучают и склоняют Афродитины глаголы,
Там на вазах есть картинки, рассуждения в тетради,
И на Лесбосе и в Спарте показательные школы.

Только в нашем бедном Риме все налажено уныло.
Этот долг мой перед Римом выполню, а не отрину.
Сколько бы моя цензура мне упреков не бубнила,
Я-то вижу свет откуда! Я глаза открою Риму.

* * *

Нас несхоже сотворил,
Разны души дал Юпитер.
Этих кожей наделил,
Тех румянцем не обидел.

Пусть же всякая жена
Из любви устроит праздник,
Если стройно сложена —
На тюфяк ложится навзничь.

Впрочем, если хороши
Ягодицы и лопатки,
Повернуться поспеши,
Поиграй сначала в прятки.

Высоту бесстыжих ног
Подари ему галантно.
Гиппомен влюбленный мог
На плечах держать Атланту.

Если рост ее и прыть
Соответствуют мальчишке,
То позволь ей, так и быть,
На коне скакать вприпрыжку.

У высоких свой удел,
Колеснице нужен смазчик,
Гектор бы не потерпел
С Андромахой скорых скачек.

Если вся ты хороша —
Стань добычею героя,
Грудь твою развороша,
Он тебя добудет стоя.

Если сладостен живот
И очерчен совершенно,
Все, что надо узнает,
Не меняя положенья.

Если бедра так узки,
Словно у карманных кукол,
Сидя ноги распусти,
Расширяя этот угол.

Я бы мог пересчитать
Тысячу таких советов.
Для чего? И досказать
Мне осталось только этот:

Даже вычурный восток
Уступил простым забавам,
Пусть откроет левый бок,
Повернувшись боком правым.

Не гони повозку вон,
Пусть ее внутри покоют!
Вам ни Феб и ни Амон
Больших истин не откроют!

* * *

Десять лет его букварь
В Риме на виду;
Притаился как угар,
Но в большом ходу.
В спальнях, письмах и речах
Шлют ему привет,
И, случайно повстречав,
Просят дать совет.
Он уже годков пяток
Все перезабыл
И совсем другой цветок
В сад пересадил.
От него пошла цвести
Целая гряда,
И уже к пятидесяти
Подошли года.

Впрочем, это ничего —
Середина лет.
Первый Рима он поэт —
Это не секрет.
Люди, духи и дела
Сведены в главу,
Но заплетены едва
В общую канву.
Их немало, столько их,
Сколько наяву.
И от хлябей молодых,
Тех, что на плаву
Выносили в первый раз
Заплутавший плот,
До твердыни, где алмаз
Не годится в счет,
До того она тверда —
Не дает развод!
Умирает — и звезда
Марш! На небосвод!
Что такое? Эта власть
Цезаря и Рим.
Назон, книга удалась!

Тут и повторим:

«Вот завершился мой труд, и его ни Юпитера злоба
Не уничтожит, ни меч, ни огонь, ни алчная старость.
Пусть же тот день прилетит, что над плотью один разумеет.
Лучшею частью своей легковечен, к светилам высоким
Я вознесусь, и мое нерушимо останется имя!
Всюду меня на земле, где бы власть ни раскинулась Рима,
Будут потомки читать и на вечные веки восславят.
Ежели только певцов предчувствиям верить — пребуду!»

* * *

Но нельзя ему помочь,
Кончен фармазон.
Юля-внучка, Юля-дочь,
Август и Назон.
То, что было — не вернешь,
Не подашь назад.
Сам себе совсем не рад
Сей триумвират.
В этом доме он давно
Не делил забав.

Здесь похмелье — не вино,
Запоздалый штраф.
И недаром Рим рожден
В обществе волчат.
Только Август и Назон
Знают, но молчат.
Август больше, чем закон,
Метче, чем стрела.
Путь в сарматский легион
И на острова.
Юля и Назон берут
Каждый свой маршрут,
Даже кости ваши в Рим,
Кости не вернут!
Назон к смерти не готов,
Оттого угрюм.
От сарматских холодов
В беспорядке ум.
Там, в Сарматии мороз,
Варвары, почет.
Назон не скрывает слез,
Назон почты ждет.
Год проходит за другим,

Август все молчит.

Мой лучший адресат

.....
Зачеркни-ка адрес «Рим»,
Напиши — «Аид».

1968



ЛЕНИНГРАДСКИМ ДРУЗЬЯМ

Стоя посреди Фонтанки
у державинских бесед,
вижу гору провианта,
дым табачный и кисет.

Наконец зима жестоко
заменяла хлябь на твердь.
Темнота идет с востока.
тяжело туда смотреть.

А на западе в тумане
солнце — клюквенный мазок.
Видно, дело к ночи, пане,
надо распрягать возок.

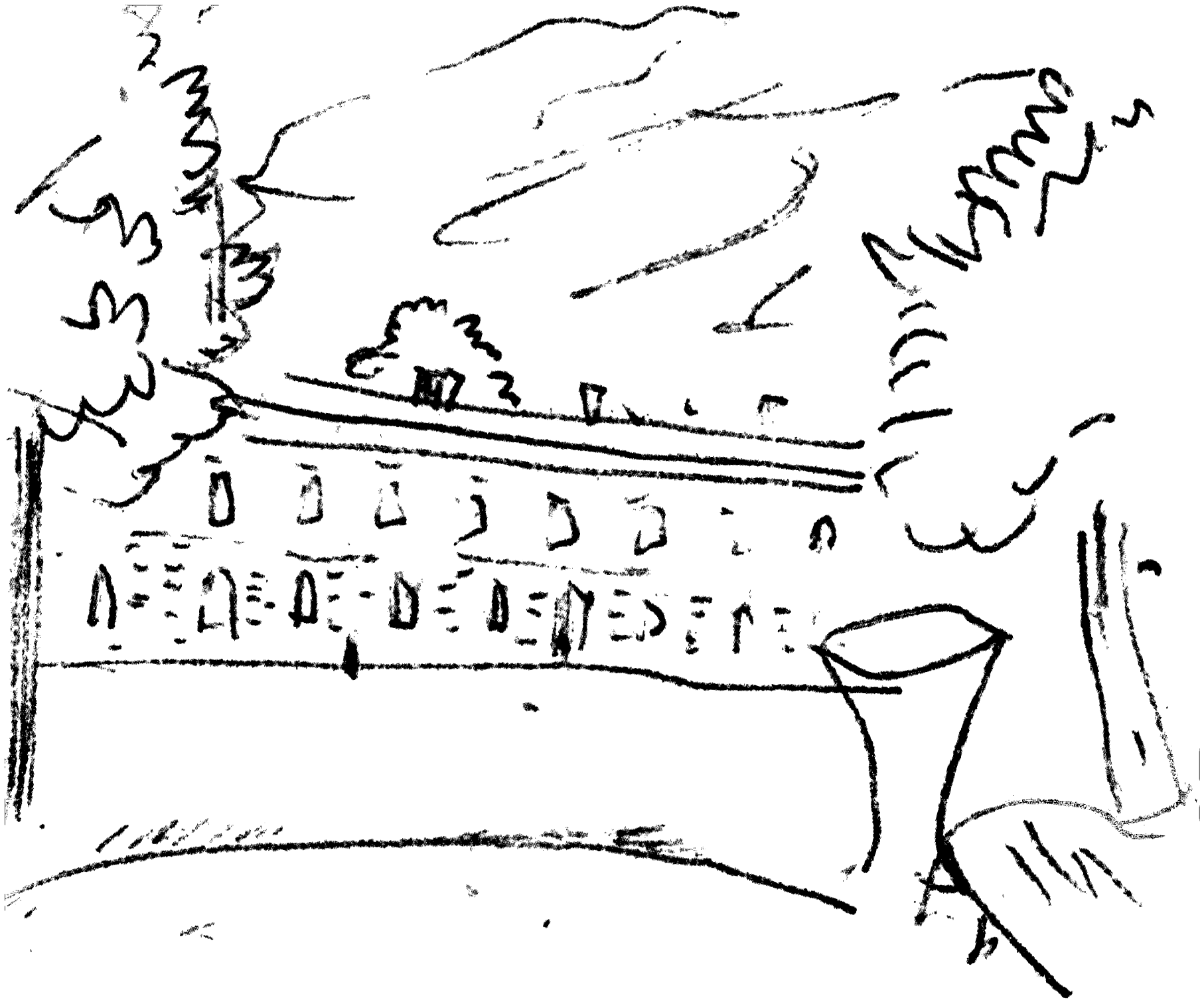
Хорошо скрипят полозья
вдоль ледовой пелены,
только стал он что-то возле
самой черной полыньи.

Желт ампир и воздух матов,
пахнет ссорой шутовской.
Не окликнет ли Шихматов?
Не пройдет ли Шаховской?

Арзамасец из Коломны
уж кого не задирает?
Прячет в шубу нос холодный
сухопутный адмирал.

Кроме этого пейзажа,
что любить нам горячо?
Отвечайте, Ося, Саша,
Лёша, Миша, — что еще?

1972



ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ

Мой лучший адресат

Свободный и счастливый человек
всего достиг — покоя и забвенья,
благообразной старости...
Тогда родня перевезла его на дачу
к таким же, как и он.
Среди сосны на плоском берегу
дома стояли с верандами,
дорожки между ними,
и перед каждым домиком шезлонг.
Залив чешуйчато блестел на солнце,
и превосходно различались мели
полосками размытой желтизны...
Позавтракав, фланелевую куртку
он надевал, развязывал кисет,
закуривал: две трубки до обеда,
три — после. Разрешенный рацион.
Ему хватало. Он согласен был
с врачами, и с погодой, и с диетой,
а почту приносили в два часа.



ИИСТИНА У ЧАСТ БОЖИХУ

Успешно баа. Успешно
Joseph

Он перелистывал ее без интереса:
благополучно, все благополучно,
благополучно с некоторых пор.
А вот с каких?
Вот этого никак не мог припомнить он
и, впрочем, не старался.
Но что-то все-таки произошло —
голодные насытились, больные
поздоровели, армии распались,
границы государств на старых картах
бессмыслицей пленяли знатоков,
тем более что новые границы
возникли сразу сами по себе,
без полосатых будок и овчарок...
Угомонились малые народы,
последний раз своей пращей махнули
и отпустили бедных голиафов:
«Идите, голиафы, не тужите,
простите, если было что не так».
Политики не стало. Равновесье
стянуло уровни, как в сомкнутых сосудах,
и даже этого достигло уголка,
его шезлонгов, домиков, прислуги.
Никто не горячился, никогда

не повышался голос, ни одно
обидное словечко не звучало.
И все-таки, с чего все началось?
Нет, не припомнить. Нечем зацепиться
и не за что — все гладко, все прозрачно,
как стекло. Впрочем, ящик со стеклом
не пропускает света.

Так и здесь
стояло стостекольное затмение...
...Представьте, что распалась связь вещей,
а это все равно, что связь пространства.
Что гвозди не подходят к дырам,
воротники не сходятся на шеях,
что вал и втулка, желоб и вода,
гнездо и птица, скрипка и футляр
расторгли свой союз.

И в результате
все затянуло дымом без огня.
Не так ли с человеческой судьбой?
Она ведь тоже форма: чем плотнее,
чем правильнее следует она
вслед за хозяином,
тем ближе Божье Око,
яснее сны и лучше голова.

И вот как раз взамен соединенья
желудка с аппетитом дали нам
высокую идею —
наполнить брюхо равенством и братством,
а аппетит сосватать с мятежом...
...И мысли прояснились страшновато.
Он вспомнил летний день и Летний сад,
приятеля, нагретую скамейку,
мороженщицу с белым сундуком.
И вдруг, как в тире, поворот вокруг
центральной точки, и провал, расправа.
Нелепые наставники нелепо
высказывали бодрые заботы
и утверждали свой авторитет
миллионами штыков, монет, газет,
полетом на Луну, сооруженьем
подлунной Спасско-Вавилонской башни,
танкетками и символами власти,
где инструменты спутались с орлами,
и получалась дичь в манере Босха
Иеронима...
Какое отношение все это имело
к приятелю, прогулке и скамейке?
Теперь уже доказано: скамья —

полуживое, теплокровное создание,
пристроенное на кресте дорожек,
важнее досок Славы и Судьбы
(хотя, конечно, Велемир достоин Пантеона!).
Развод, развод! Но некая жена,
из буйствующих жен, одетых в пурпур,
не хочет даже слышать о разводе.
Супружество пожизненно — кошмар!
А дальше что?

Что стало с этим садом,
приятелем и, наконец, самим?..
Благополучно, все благополучно,
благополучно с некоторых пор.
Свободный и счастливый человек
всего достиг — покоя и забвенья.

1973





ХРОНИКА. 1966

*Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.*

А.Ахматова

Я не любитель «Би-би-си» и прочих
радиостанций этого уклона;
по мне уже лучше «Мьюзик Юэсэй».
В тот вечер ускользал он в глубь эфира,
я шевелил настройку, и внезапно
среди разрядов диктор произнес:
«Сегодня — треск — в Москве — разряд —
скончалась Ахматова — ворчанье и разряд».
Я сразу же оделся и пошел
через Неву в один знакомый дом,
где, верно, уже знали эту новость.

.....
Аэропорт под Ленинградом. Утро.
Нормальная Аэрофлота жизнь.
Грузины с чемоданами. Узбеки

с коврами. Хвост у ресторана.
В кафе у стойки люди киностудий:
Каплан, Климович, Кутик, Либерман.
Они, рискуя собственной работой,
задумали заснять на киноплёнку
ближайшие часы.
ТУ-104 падает на брюхо,
без промедления к нему подвозят трап.
Мелькают люки грузовых отсеков.
Одиннадцать часов. По трапу сходят
Тарковский, Михалков и Смеляков,
за ними я вижу
Надежду Яковлевну Мандельштам,
Герштейн Эмму, Нику Глен и прочих.
А Наймана не вижу. Что за черт?
Меня зовут. Вот Либерман, который
еще четыре года проживет,
навинчивая нервно объективы
на кинокамеру, спрашивает:
«Кто это? Это? Это? Это???»
Я отвечаю и бегу на поле.
И вижу Наймана.
В своем пальто бесцветном,
с подглазьями, распухшими от слез,

он почему-то движется в глубинку
аэродрома. «Толя!» Мы расцеловались.
«Куда ты?» — «Я за гробом». Вот и гроб.
Какие-то неясные мужчины,
Лев Гумилев и я
приподнимаем гроб на грузовик.

.....
Должно быть, полдень иль около того.
Мы входим в боковой притвор собора
Никольского. Гроб здесь, уже открыт.
Становимся кольцом. Лев Гумилев
с размаху бухается на колени
и молится. И Юра Цехновицер,
выискивая в «Практикфлекс» получше точку,
щелкает и рвет никелированный крючок,
меняя кадры. Тогда
Лев Николаевич Гумилев
каким-то броским, боковым движеньем
выхватывает Юрин аппарат,
откидывает крышку (значит, пленка
засвечена) и через весь собор
швыряет метров на сто (показалось,
конечно, ближе, показалось — на сто!).

На следующий день в такси, набитом
под штраф и под завязку, ровно в час
мы подъезжаем к флотскому собору
Никола Мирликийского. Толпа
стоит от Мариинки до канала.
Я пробиваюсь боком и плечом,
припоминая старые ухватки.
У гроба луг, оранжерея, лес —
и посреди ОНА — лбу молитва,
сиреневые царственные веки
закрыты сильно, хмуро, тяжело.
Пришедшие, выстраиваясь в ленту,
проходят перед гробом. Настоятель
собора, дьяконы и притч
ведут неведомую мне, невеже, службу.
Горит подсветка. Кутик Соломон,
толстяк, пальто он скинул,
просит тех, кто в кадре,
из кадра выйти, а иных войти.
И люди, облеченные доверьем
автокефальной православной церкви,
согласно указаньям Соломона,
все это делают. (Но это так — штришок!)
Дела распределились в это день

в таком разрезе: Бродский хлопотал
о месте для могилы в Комарово.
Важнейшие дела, конечно, Найман.
Мне поручили крест — и вот летаю
пол суток на такси по похоронным
универмагам. Вижу дикий вздор —
цементные кресты на арматуре,
а деревянных и в помине нет.
Быть может, заказать? Но у кого?
И не успеют. Что же делать, Боже?
Мне тридцать лет, и варит голова.
Великая кинозвезда Баталов,
заглавный сын из Ардовых, как раз
снимает в павильончиках Ленфильма
«Три толстяка» по Юрию Олеше.
И у него есть плотники и лес
для декораций. Это гениально!
Часа через четыре все готово,
замотанный в портъеры крест выносят
из проходной Ленфильма, погружают
в баталовскую групповую «волгу» —
и в Комарово...

еще не рассупоненных весною,
идут машины, переходы и —
с десятков лыжников
(их лыжная прогулка
совпала с этим шествием случайно).
Смеркается, седьмой, должно быть час.
У самой кромки кладбища чернеет
старательная ровная могила,
пристойные могильщики, вполне
осознавая, что они копают,
последним взмахом обрезают грунт.
А лица, лица! Все кругом знакомы.
Вот Бродский, Найман, Бобышев,
Славинский, вот Зоя Томашевская,
вот Эра, вот Ардовы, вот Лев
Евгеньич Аренс — барон и царскосел,
Ершов-художник, сын императорского
тенора Ершова. Вот Пунины.

У гроба
ответственный за похороны Ходза.
Тарковский с палкой,
Михалков с бумажкой
в руках и в золотых очках.
Вот Боря Шварцман боком на каком-то

косом надгробье; в объектив он ловит
все, что возможно.

И мы навек
обречены на Борины картинки.
К могиле подошла худющая,
в пушистой шубе дама,
и бросила букет пунцовых роз,
и стала на колени. Кто такая?
И сзади кто-то подсказал:
«А это Нина Бруни.


Она Бальмонта дочь!?»

.....
Обратный путь от кладбища до «будки».
Толпа уже разбилась на компашки,
а вот и «будка». Нету перемен.
Я был здесь летом. Перемен не вижу.
Вещички те же, кое-что, конечно,
припрятано до летнего сезона.
Вот только ящик водки у окна.
Мы выпиваем. Боже, Боже правый!
Как вкусно быть живым, великолепны
на черном хлебе натюрморты с салом,
селедкой и отдельной колбасой.
Мы говорим, уже оживлены!

Все понимают — эти сорок восемь
часов нам в жизни бедной
не перешибить.
Во всяком случае, немного шансов
подняться выше мартовских сугробов
на комаровском кладбище.
Семидесятипятилетний Аренс
читает собственное сочиненье
на смерть Ахматовой.
Малюсенький, лохматый, совсем седой —
командовал эсминцем в пятнадцатом году
на Черном море, Георгиевский кавалер,
друг Гумилева, ныне орнитолог,
лет восемнадцать разных лагерей,
в Кавказском заповеднике работа
и десятирублевые заметки
о птицах в пионерской прессе...
Он ненамного Ахматову переживет.
Теперь и нам пора. Пошли.
На электричке десять двадцать пять
мы уезжаем. Вот и все. Теперь
ОНА БЫЛА, а мы остались. Это
меняет многое и в судьбах, и в словах.
И как написано в сороковом году:

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

«Когда человек умирает,
Изменяются его портреты...»
Но не только его портреты,
а и все, кто его любил...

.....
Скоро, скоро вокзал и город, 
скоро, скоро грядущее нагрянет,
скоро нам свою размыкать долю.

1974



ЛЮБОВЬ К ЛИЛОВОМУ

Мой лучший адресат

Совсем не осталось писем, и нет почти фотографий,
одни записные книжки исписаны до конца.
А выбраться невозможно — как черту из пентаграммы,
пока повелитель духов не повернет кольца.
Рассыпались наши фигуры: овал, квадрат, треугольник,
распался карточный домик, заржавел магнитофон.
Теперь уже не припомнить, кто друг, кто муж, кто любовник,
кто просто тянул резину, кто был без ума влюблен.
Теперь уже не собраты на Троицкой и Литейном,
молчат телефоны эти, отложены рандеву.
Никто не может распутать тех сплетен хитросплетенье,
поскольку все это было так ясно и наяву.
Одиннадцатого апреля и двадцать четвертого мая
я пью под вашим портретом, читаю ваши стихи.
Наземный транспорт бессилен — уж слишком дуга кривая,
воздушный путь покороче, да вот небеса глухи!
Жильцы чужих континентов, столицы и захолустий,
кормильцы собственной тени и выкормыши казны,
когда мы сменяем кожу своих обид заскоружлых,

у нас остаются только наши общие сны.

И тот, кто холодную почту своих кудрявых открыток
содержит в полном забвенье, как заплутавший обоз;
и тот, кто честно выводит своих скитаний отрывок, —
уже понимают: бумага не принимает слез.

А тот, кто остался дома, как бы наглотался брома:
не видит, не слышит, не знает, не чувствует ничего.

Он выбрал себе наркотик — пейзаж, что в окне напротив, —
и искренне полагает, что раскусил Вещество.

Мы думали: все еще будет, а вышло, что все уже было.

На севере коротко лето — не следует забывать!

Любовь к лиловому цвету нам белый свет заслонила.

Прощай, лиловое лето, — проклятье и благодать!

1975



ШЕСТОЕ МАЯ

Мой лучший адресат

За десять лет два раза — тот же день,
шестого мая было воскресенье.
Медовая московская сирень,
лиловое густое сновиденье
мотались на углах. На телеграф
зачем-то шел я, стиснутый народом.
И вдруг нос к носу... И она, задрав
свой горборимский, ибо шла с уродом,
какой-то смесью чушки и хорька,
и потому особенно надменна...
Хотя нам было с ней наверняка
о чем повспоминать. Одновременно
пролить слезу на теплый тротуар
шальной Москвы, пустой, как все столицы
в воскресный день. И ветер продувал
Тверскую и не мог угомониться.
Он нес пустые пачки «Мальборо»,
сиреневые гроздья, чьи-то письма...
О жизнь, ты возникаешь набело,

как из груди прорвавшаяся песня.
Ты возникаешь наугад, впотьмах,
где ищешь выключатели на ощупь.
Ну, вот и окна вспыхнули в домах.
Мы двинулись на Пушкинскую площадь.
Она была подругой двух друзей
в иных местах и временах... когда-то.
Ее белье пора продать в музей,
и, я ручаюсь, воздадут богато.
Все это было в лучшей из систем,
где ипокрена бьет на черном хлебе.
Зачем, я вопрошаю вас, зачем
и почему? И что всего нелепей —
остались оба, в общем, в дураках.
Не потому ль она, дохнув шампанским,
сирень перебирала на руках
здесь, на Тверской, с каким-то иностранцем?
Который, впрочем, был здесь не у дел,
на выставках чего-то там наладчик.
Из-за чего ж, дружок, ты погорел,
мой ученик, мой гениальный мальчик?
Из-за чего нешуточный свой дар
принес другой на сей алтарь грошовый?
Но здесь уже кончался тротуар,



и начинать им не хотелось новый.
Я видел, как они вошли в такси,
и «волга» покатила по бульварам.
Кончаю — ни смущенья, ни тоски,
ни ругани — и все-таки не даром...
Ведь что-то было. Что-то, хоть слеза,
хоть полсловечка, дырочка в перчатке...
Я повернул блудливые глаза —
из телеграфной двери, из тройчатки
просачивались, словно в решето,
пестрейшие приезжие пажоны,
и булькала толпа у ВТО,
синяя в джинсовне на все фасоны.
Шестое мая — день известный встарь,
пятнадцать лет назад он много значил.
День ангела жены. Но календарь,
как водится, его переименовал.

1975

В НОВУЮ АНГЛИЮ

На первом этаже выходят окна в сад,
который низкоросл и странно волосат
от паутины и нестриженных ветвей.
Напротив особняк, в особняке детсад,
привозят в семь утра измученных детей.
Пойми меня хоть ты, мой лучший адресат!

Так много лет прошло, что наша связь скорей
психоанализ, чем почтовый разговор.
Привозят в семь утра измученных детей,
а в девять двадцать пять я выхожу во двор.
Я точен, как радар, я верю в ритуал.
Порядок — это жизнь, он времени сродни,
поэтому всему пространство есть провал,
и ты меня с лучом сверхсветовым сравни.

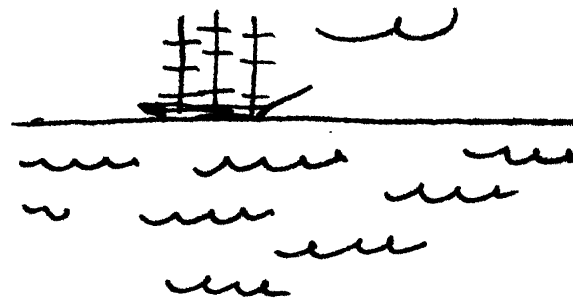
А я тебя сравню с приветом и письмом,
и с трескотней в ночном эфире и звонком,
с конвертом, что пригрет за пазухой тайком
и склеен второпях слезой и языком.

Твой лучший адресат
с утра выходит в сад.
Лица его фасад
немножко волосат,
в мозгу шумит пассат,
взор звездно-полосат.

Зачем спешил почтарь? Уже ни ты, ни я
не сможем доказать вины и правоты,
не сможем отменить обиды и нытья.
и все-таки любви, которой я и ты
грозили столько раз за письменным столом.
Мой лучший адресат, напитки и плоды
напоминают нам, что мы еще живем.

Семья не только кровь, земля не только шлак,
а слово не совсем опустошенный звук!
Когда-нибудь нас всех накроет общий флаг,
когда-нибудь нас всех припомнит общий друг!
Пока ты, как Улисс, глядишь из-за кулис
на сцену, где молчит худой троянский мир,
и вовсе не Гомер, а пылкий стрекулист
напишет о тебе, поскольку нем Кумир.

1975



ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ

*Томасу Венцлова, Пранасу Моркусу, Вергилиюсу Чапайтису,
а так же памяти Аркадия Акимовича Штейнберга*

*Христос воскрес из мертвых,
смертию смерть поправ
и сущим во гробе живот даровав.*

Православный молитвослов

В будущем году в Ершалаиме!

Еврейское пасхальное присловие

*К чему, скажите мне, хранительная стража? —
Или Распятие — казенная поклажа,
И вы боитесь воров или мышей? —
Иль мните важности придать царю царей?*

А.С.Пушкин

Командировку выписали утром,
билет на понедельник. Значит, нынче
гуляй от пуза. Плюнем на дела.
Не ранее восьмого часа я заехал
к Зисканду. Огромная овчарка
по прозвищу Руслан — добрейший зверь —

толкнула меня грудью в коридоре,
едва не сбила с ног. Пардон, Руслан.
Добрейший зверь, умерь свои порывы.
Четыре кошки вышли за Русланом.
Одна из них нубийская, она
родоначальница в Москве нубийских кошек,
ей сорок лет — и все еще жива.
На то она нубийская. А Зисканд
был рад визиту моему. Он, Зисканд,
умнейший человек, громадный тип.
Лет семьдесят, к тому же переводчик
поэзии и прозы, и чего угодно, и
поэт отменный, книги не издавший.
А жизнь сложилась странно. Он дружил
с Багрицким, Маяковским, Мандельштамом,
переводил стихи, потом сидел,
сидел и воевал...
Полковник, комендант Софии,
какие-то трофейные дела с валютой,
драгоценностями...
Он снова на десяток лет садится,
выходит снова подбирать катрены,
терцины, триолеты и октавы
для «ИЛа» и «Гослита». И еще



он был женат на девочке Агафье,
на сорок ровно старше был ее.
И я клянусь, из мне известных браков
Зиновий Зисканд и его Агафья
составили весьма счастливый брак.
Что было главное в Зиновии? Не знаю.
Но жизнь хотел бы я прожить, как он,
не в лагерях и не в Багрицком дело,
не в орденах, не в переводах даже...
И вот я за столом. И, Боже мой,
что происходит, я не понимаю.
Гостей четыре человека, пятый я,
хозяйева уселись на подушки,
разложенные на корявых стульях.
Хрен, редька на столе, и Зисканд сам
их называет почему-то «морер»,
а рядом на тарелке смесь корицы
с толченым сахаром. Агафья говорит,
что это называется «хоросес», —
впервые слышу; оказывается,
что это символ той глины,
что евреи размесили в Египте некогда.
Нас семеро, но на столе восьмой
до половины налитый стакан.

Агафья говорит, что это
для пророка Илии. И дверь открыта,
чтобы он зашел.
По Пятикнижию Зиновий нам читает что-то.
Спрашивает нас, что означает эта ночь?
Зачем сидим мы на подушках?
И почему горчайшие едим на свете травы —
редьку, хрен, чеснок?
Хотите верьте, а хотите — нет:
дверь распахнулась, — и вошел Илья,
и сел за свой стаканчик. Помолчали.
А радостный Зиновий Зисканд вдруг,
откинув скобку пегой волосни, сказал:
«Итак, друзья, в Ершалаиме в году
грядущем!» Я стакан допил до дна,
еще налил и выпил. Нынче сейдер!
А я еврей. Не знал совсем об этом.
Но ничего — я, все-таки, еврей и потому:
«На следующий год в Ершалаиме!»
.....
А в понедельник летная погода,
«Ту-104» полтора часа летит
и приземляется в Литве.
Друзья меня встречают, и на «волге»,

на старой «волге» М-21 мы едем в Вильно.

Что же, здравствуй, Вильно!

Я восемь лет здесь ровно не бывал,
до этого же четверть века прожил
я в городочке Вильно у друзей.

Я поселяюсь в маленьком отеле,
где жил когда-то.

Уютный номер и окно во двор,
умеренный комфорт, вполне удобно.

На стенке модернистский натюрморт
художника Цирюлиса. Гальян и ванна,
даже холодильник и телевизор.

В общем, ничего на свете мне не нужно,
кроме того, что собрано под кровом
гостеприимной «Неринги», — и вот
литвины в номерочке у меня.

Один поэт, хитрец, безумец — личность
запутанная. Я его люблю.

Наследник миллионов, пошутивший
однажды так: «Алкоголизм, хоть слово дико,
но мне ласкает слух оно». Другой —
хозяин лучшего из лучших
приютов нашей юности. Его
обширный дом на улице Леиклос

служил для нас убежищем, тогда,
в старинное исчезнувшее время,
когда мы были вместе. Но, увы,
дом этот так же разорен, как наши дома.
Тот человек — историк, и — хороший,
когда теперь закончит он трактат?
Он мрачно пиво пьет — бутылок десять
сразу и сумрачно грызет сухой миндаль.
А третий весельчак и бонвиван,
толстяк в английском дорогом костюме,
работает себе на кинониве,
сценарий за сценарием строчит —
и все успешно, все в большом порядке.
Он умница, тончайший человек,
поклонник Де Кюстина и Де Сада,
любитель семги, сала, маринада,
предпочитает в Вильнюсе районы
конца восьмидесятых-девяностых,
начала века, говорит: они одни
доносят дух времен, а прочее,
а старина — все липа.
Он умница, тончайший человек,
предпочитает «белую головку».
И так проходит ровно шесть деньков.

И вот над Вильнюсом стоит пасхальный вечер,
с поэтом и безумцем мы идем
к известной всем «двуглавой Катарине»,
прекраснейшему из костелов мира,
что в письмах отмечал Наполеон.
Заходим внутрь — там тихо и не тесно.
Костелов много, места хватит всем.
Ни музыки, ни пенья — в этот вечер
католики лишь бодрствуют, они
проходят духом до своей Голгофы.
А в боковом притворе что?
Макет наивный здесь —
фанерная пещера, гора, Христос.
Поэт, мой спутник, сразу на колена
и шепчет заклинанья. Я стою в углу.
Я тоже, тоже связан со Христом,
но все не так-то просто. Что тут делать?
Ум величайший русского народа
все это изложил примерно так:
«К чему инстанции, бюрократия, служба,
казна и государственный чиновник
(или церковный — это все равно),
когда пред вами царь царей,
когда венец терновый

без административного начала
приял он на себя,
и можно ли прибавить что-нибудь
тому, кто добровольно
расстался с жизнью за род людской?»
Я понимаю пушкинское слово
примерно так. Мое я никому
не втискиваю мнение.

Пятнадцать минут вполне довольно,
мой друг встает с колен, и мы выходим.
Прекрасный вечер — холодно и ясно,
свежо и восхитительно. Идем
в косые улочки еврейского квартала.
Выходим к Стиклю. «Мы куда идем?» —
«К одной красотке», — отвечает спутник.
«Которой именно?» — «Сейчас увидишь сам!» —
«Ну, объясни!» — «Осталось две минуты,
увидишь сам». — «Ну, хорошо».

Заходим мы во дворик, деревянная терраса,
крутая лестница, на ней зачем-то мрамор
и деревянные чурбаны (скоро, скоро
все объяснится). Мой дружок стучит.
Дверь отворяют. Входим. Перед нами
стоит красавица. Мне хочется заплакать.

Мне сорок лет. Я видел трех красавиц
за сорок лет. Она одна из них.
Вот на столе пасхальная закуска;
а рядом «Столичная», банановый ликер,
сок апельсиновый, кагор «Чумай»
(он лучший из кагоров СССР).
Мы первые. Другие гости
будут позже. Они еще в костелах.
Мой друг, поэт, важнейший из литовцев,
фанатик, но фанатик с чувством меры,
заводит светский чинный разговор
о сплетнях, модах, о Москве безумной,
кому на Западе везет и не везет.
Хозяйка отправляется на кухню, —
горячее готовится. И вдруг мой друг
мне говорит: «А знаешь ты,
хозяйка наша Анненскому внучка».
Был Иннокентий Анненский последним
из царскосельских лебедей, и это
его родная внучка? Да не может быть!
«Нет, это правда! Это всем известно.
Да у нее полным-полно портретов,
и писем, и бумаг. Ты что, не знал?..»
Приходят гости. Милый мой толстяк,

уже в другом костюме, полосатом,
историк бородатый, что никак
не может дописать «Разделы Польши»,
приходит бывшая жена его литовка.
И еще, еще, литовцы из Канады,
и евреи из Уругвая... Вот сидит она.
Хозяйка наша! Я ее люблю.
Она рассказывает о своей семье,
о дедушке — инспекторе гимназий,
что славы ждал, и славы не дождался,
о том, что после «башни» Вячеслава
Иванова поехал он в Село к себе,
и на ступенях Царскосельского вокзала,
что ныне Витебским зовется, он упал
и умер... Славы не дождался.
И вот уходим мы с приятелем-поэтом.
Он говорит: она была женой
известного литовца, живописца
и скульптора, и ровно год назад
с приятелями в деревянном доме
в глуши за Каунасом (она была, конечно,
в городе с детьми, в своей квартире),
этот муж довольно сильно ночью выпивал.
И дача загорелась. Все спаслись,

а он зачем-то выскочил на крышу.
Чердак обрушился. И он сгорел.

.....
Вот пробегает новая неделя,
я в Ленинграде. С раннего утра
графитный дождь под перламутром света.
А я с утра брожу по Ленинграду,
суббота черная, и дел полным-полно.
Но вечер обеспечен. Ровно в девять
на Пасху ждут меня в одну семью,
двое стариков. Они живут неподалеку
от Преображенского собора,
в квартире есть балкон, второй этаж,
и все отменно видно. Но это в девять,
а сейчас шестого три четверти.
Куда деваться мне? Припоминаю,
где-то на Литейном открылась выставка
подпольных живописцев.
О, сколько этих выставок я видел!
И эта так похожа на другие.
Художник Семушкин меня по залам водит
и говорит: «У нас здесь свой подход
в манере «сюрчика», — он называет так
сюрреализм, великое явление.

Ну, Бог с ним, с Семушкиным.
Бедный человек, мечтает он
о новых джинсах, о пиджаке,
о водке с мясом — нормальные желанья.
Пусть все ему отпустит Провиденье.
Но скоро восемь. Надо уходить.
Закрыта выставка отверженных до завтра.
Я надеваю плащ уже в передней,
дверь открывается (она не заперта),
и входит женщина. Люминесцентный свет
наяривает, словно в павильоне
на киносъемке. Я ее шесть лет не видел,
эту даму. Но я узнал ее, немедленно узнал,
как узнают старинный сон безумный.
Ее нельзя мне не узнать, она когда-то
в старой нашей жизни
произвела такие разрушенья...
Наш общий друг, по мнению российских
известных наилучших стихотворцев,
возможно самый лучший стихотворец,
уехал он давно на дальний Запад, —
вот этот человек любил ее.
На всех своих стихах, на всех поэмах
он написал «Н.П.» — инициалы вот этой дамы.



Когда сидел он в сумасшедшем доме,
она ушла к приятелю поэта — поэту тоже.
Тогда-то и возник меж нас
тот идиотский раскардаш.
Мы вышли вместе. Дождь еще летел,
графитный дождь под перламутром света.
Зашли в кафе по прозвищу «Сайгон»,
где можно кофе взять или ватрушку,
а можно анаши на три рубля.
Мы что-то пьем, потом еще и кофе,
стоим там до закрытия. И я ее
сажаю на автобус. Я понимаю вдруг,
зачем они, соперники, устроили резню
по поводу Н.П. Как я-то проморгал?
Не оценил? Не врезался в нее?
А к девяти я подхожу к подъезду,
в который приглашен. Вот старики,
родители опального поэта, того,
что укатил на дальний Запад.
У них сидят друзья уехавшего.
Еще американка цвета хаки
из Мичиганского университета —
причапала узнать, как жил поэт,
чего желал на завтрак и на ужин,

какие покупал себе носки,
сорочки, галстуки, ботинки и пижамы.
Припоминаю, что в начале этой
достойной удивления карьеры
был у него один пиджак венгерский,
табачный, в рубчик, восемь лет один
и тот же. Больше ничего.
Была еще армейская сорочка, носки,
которые стирались раз в неделю.
А первый галстук, итальянский, синий,
в диагональную полоску я ему,
как помню, подарил на день рождения.
Американка, чудный человек,
приперла виски, джин и «Кэмел».
Ведь «Кэмел» ценил поэт еще тогда в России.
Итак, привет тебе, американка,
твоим верблюдам пламенный привет!
Мы за столом о том, о сем болтаем.
И вдруг отец поэта говорит: «Пора,
осталось ровно пять минут».
Балконные распахивая двери,
отец поэта предлагает нам
девятикратный цейсовский бинокль,
и мы выходим. Боже, что я вижу!

А бои в Мексике, взбуривая на перах
безупречные геометрии, грозятся
расстрелять там и себя на Тегуа-Тейхском перевале.
Хотелась вера, чтоб, злых воздвигших кошмаров
ишь обречь, там же легионы делаются рабами.
И пренебреж усадьбы каменьями зрилами.

Ты иль тебе Божья, подползуешь подделка
с неболгайки легкости, вазавачицей кривотолки.
Берег-бегея с раздвиги суевои, шаженье переветом
ты иль вичаи звыи не разгадаешь аираветом
звонка, не знаешь слова "иш".
Чтобы они рассказали, сами забоворили.

Ничего. В мучиле мучал, о победах
над соседним пламенем, о разбитых
головках. От том знои шитая в мещу
богу солуга медская, кроче укремлей. Но медно
там вечерний трепка востри и шавоки и шавоки
обесмеривали востри подвиге, там буда-бвиге.

Все-таки мучиле ширине, мучиле трепка
еукиротов кортеса, там оти трепка.
К таме вам глаза шоричко судеев борокам,
мучиле еши убица ушима, а не асторкам.
Востри без ишануев востри м. Шик мучиле
только мучиле, зно востри мучиле

Случиле мучиле, мучиле Евгений! Куда ни шоричко
востри мучиле и шоричко востри мучиле "Зоричко
востри мучиле!" Шоричко востри мучиле.
Как сказано востри, "та еши шоричко".
Далеко же востри, мучиле, востри востри.
От сави дотам: во всех шоричко.

Евгений Рейн

От самого Литейного толпа!
Дождь все еще идет, графитным блеском
сияет черный мокрый Ленинград.
Почти у всех в руках зонты и свечи,
и свечи светят сквозь зонты, и это
китайские фонарики как будто.
И крестный ход!
И очередь моя держать бинокль.
Настраиваю линзы. Я вижу,
как идут они в дожде. Идут!
Христос Воскрес! Воистину!
И бьют куранты полночь!

1976

Вопрос

Мой лучший адресат

Ну, чего тебе еще от меня надо?
Почему до сих пор долетает прохлада
этих улиц сырых, прокисших каналов,
подворотен, пакгаузов, арсеналов?
Вот пойду я опять, как ходил ежедневно,
поглядеть, погулять за спиной Крузенштерна...
.....
и вернусь через мост, и пойду к Мариинке,
где горят фонари до утра по старинке.
За Никольский собор загляну я украдкой —
там студент прикрепляет топор за подкладкой.
Вот и Крюков канал и дворы на Фонтанке,
где когда-то гонял я консервные банки,
что мячи заменили нам в году сорок пятом...
Как меня заманили к этим водам проклятым?
Что мне в этом пейзаже у державинской двери?
Здесь при Осе и Саше в петроградском размере,
под унылый трехсложник некрасовской музыки
мы держали треножник и не знали обузы.

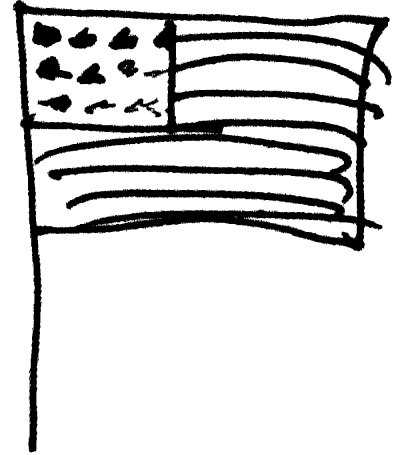
ЕВГЕНИЙ РЕЙН

Мы прощались «до завтра», хорохорясь, цыганя, —
а простились от Автова до Мичигана.

Виден или не виден с чужедальной платформы
сей ампир грязно-желтый, европеец притворный,
этот Дельвиг молочный и Жуковский румяный
и кудрявый, бессрочный этот росчерк буланый,
вороной и гнедой, как табун на бумаге,
и над гневной Невой адмиральские флаги?

1980

и.в.



ЗВЁЗДЫ

и полосы

и полосы



В ПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ

А.А.Ахматовой

В Павловском парке снова лежит зима,
и опускается занавес синема.
Кончен сеанс, и пора по домам, домам,
кто-то оплывший снежок разломил пополам.
Снова из Царского поезд застрял в снегах,
падает ласково нежный вечерний прах,
и в карамельном огне снова скользит каток,
снова торгует водой ледяной лоток.

Сколько не видел я этого?

Двадцать, пятнадцать лет?

Думал — ушло, прошло,

но отыскался след.

Вот на платформе под грохот товарняка
жду электричку последнюю — будет наверняка.

Вон у ограды с первой стою женой,
все остальные рядом стоят со мной.

Ты, мой губастый, славянскую хмуришь бровь,
смотришь с опаской на будущую любовь —
как хороша она в вязаном шлеме своем, —

Лывет в тоске необъяснимой
 следи капричного наезда,
 ночью котэблик негасимый
 из александровского сада,
 ночной кораблик неодолимый,
 на розу желтую похожий,
 над головой своих любимых,
 у ног прохожих.

Лывет в тоске необъяснимой
 печальный хор сомнамбул, пьяниц,
 в ночной столице фотоснимок
 печально сделал иностранец,
 и выезжает на ордынку
 такси с большими седоками,
 и мертвецы стоят в обнимку
 с оособняками.

Лывет в тоске необъяснимой
 певец печальный по столице,
 стоит у лавки керосиной
 печальный дворник кружолопный,
 слезит по улице невзрачной
 любовник старый и красивый,
 полный поезд новобрачный
 Лывет в тоске необъяснимой.

Лывет во мгле замоскворецкой
 Лывет в несчастье случайной,
 блуждает выговор еврейский
 на желтой лестнице печальной,
 и от любви до невеселья,
 под новый год, под воскресенье,
 Лывет красотка записная,
 своей тоски не объясняя.

Лывет в глазах холодный вечер,
 дрожат снежинки на вагоне,
 морозный ветер, бледный ветер
 облетает красные ладони,
 и льется мед огней вечерних
 и пахнет сладкою халвой,
 ночной широт несет сочельник
 над головою.

Твой новый год по темно-синей
 волне среди моря городского
 Лывет в тоске необъяснимой,
 как будто жизнь начнется снова,
 как будто будут свет и слава,
 удачный день и вдоволь хлеба,
 как будто жизнь качнется влево,
 качнувшись влево.

Те река едина река в роз-на твоей
 гени рождение - те обертосе носвицей
 тебе стихи, в которых черпем
 душ соображен тек о своих некро-

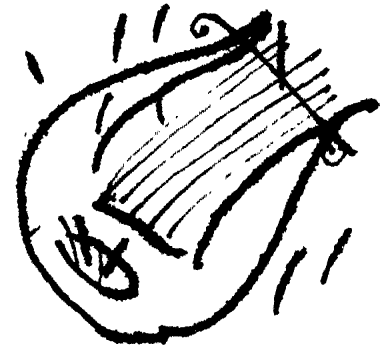
В.В.ХМ:61.

равных нежных изобрет и
 тебе и к тебе изредка
 шее. К. Грот -

будет вам время, останетесь вы вдвоем.
Ты, моя пигалица, щебечущая кое-как,
вечный в словах пустяк, а в голове сквозняк.
Что ты там видишь за павловской пеленой?
Будни и праздники, понедельничный выходной?
Ты, настороженный, рыжий, узлом завязавший шарф, —
что бы там ни было — ты справедлив и прав!
Смотрит в затылок твой пристально Аполлон,
ты уже вытянул свой золотой талон.
Ты, мой брюнетик, растерзанный ангелок.
Что же? Приветик! Но истинный путь далек.
Через столицы к окраинному шоссе.
Надо проститься. А ну, подходите все!
Глянем на Павла, что палкой грозит, курнос.
Что-то пропало, но что-нибудь и нашлось!
Слезы, угрозы, разграбленные сердца,
прозы помарки и зимних цветов пыльца.
Чашечка кофе и международный билет —
мы не увидимся, о, не надейтесь, нет!
Ты, моя бедная, в новом пальто чудном —
что же мне делать? Упасть на снега ничком?
В этом сугробе завять, закричать, запеть?
Не остановитесь. Все уже будет впредь.
Падают хлопья на твой смоляной завиток —

я-то все вижу, хоть я негодяй, игрок.
Кости смешаю, сожму ледяной стакан,
брошу, узнаю, что я проиграл, болван,
взор твой полночный и родинку на плече —
я не нарочно, а так, второпях, вообще.
В Павловском парке толпится девятка муз,
слезы плочает твой первый, неверный муж.
В Павловском парке снова лежит зима,
падает занавес, кончено синема.
Вот я вбегаю в последний пустой вагон,
лишь милицейский поблескивает погон.
Сядь со мной рядом, бери, закури, дружок, —
над Ленинградом кто-то пожар зажег, —
тусклого пламени — время сжигает все,
только на знамени Бог сохраняет все.

1980





Переходя ручей среди заснеженного поля,
вглядываешься, Бог знает куда,
то ли в шестидесятые, то ли
в сороковые года.

Почему-то чувствуешь себя оккупантом
чуждого времени, и не слишком рад.
И пора возвращаться к родным пенатам
через Курск, Сталинград.

Захватила леса партизанская нечисть,
вскинут ствол — и готов.
И пора отступать, отступать в бесконечность
разоренных, как сёла, годов.

Возвращаться к плечистому коверкоту,
к пятилетнему плану народной борьбы,
и пора попенять на природу, погоду, —
если бы, да кабы.



Там, на родине все еще воеет Утесов,
правит важно и мудро великий Сосо,
и дрейфует Папанин у полярных торосов,
и рисует голубку формалист Пикассо.

Там танцует заезжий поляк буги-вуги,
бьет ботинком по столику русский премьер,
ушивают штанины стигяги-подлюги,
и рифмует гекзаметры новый Гомер.

Поднимая пустое лицо над толпою
сбитых в тесный загон шелудивых годов,
пепелище времен он развеет как Трюю,
запинаясь на паузах, что Михалков.

Потому-то изгой и хранитель эпохи,
отмеря заснеженный наново наст,
я бессмертнее вас, олимпийские боги,
проживающий Хроноса черствые крохи,
перемешанный с ними в подпочвенный пласт.



Такси металось по московским палестинам,
я бросил счет рублевкам и полтинам.
С утра шел дождь. Толпились тучи. Зонт шатался.
Я отпустил машину и остался.
Куда спешить? По мне и здесь не худо,
да и погода все-таки, паскуда.
О, эта комната в Дегтярном переулке,
«Приют любви» когда-то пели урки.
Белье на гвоздике, крахмал на занавесках,
хозяйка десять лет уже в невестах!
Висят вокруг интеллигентные открытки —
вот Окуджава в сказочном избытке,
вот Ахмадулина и Женя Евтушенко,
а рядом клонится пустая этажерка.
На ней когда-то находились книги,
но их приятели сменяли на ковриги.
А вот в углу проигрыватель старый,
такой заезженный, разбитый и усталый.
Поставим, милая, давай Оскара Строка

и потанцуем босиком не очень строго
смешное танго юности печальной,
такой далекой и такой хрустальной.
Забуду все я — и твои объятия,
дух «Диориссимы» от пламенного платья,
коньяк на столике, печенье на буфете...
Я уезжаю от тебя в карете
туда, где много нас горластых и патлатых,
где бродит молодость в годах пятидесятых,
где Азадовский, Бобышев и Найман,
где Ося Бродский только что мной найден.
И как сказал он в мичиганском штате,
и что приходится на этот случай кстати:
«Мелькает белая жилетная подкладка,
мулатка тает от любви, как шоколадка.
Максимильян ее обхватывает — гладко!
Где надо — гладко, где надо — шерсть!»

1982



«НИЖНЕЕ КАФЕ»

Памяти Б.С.

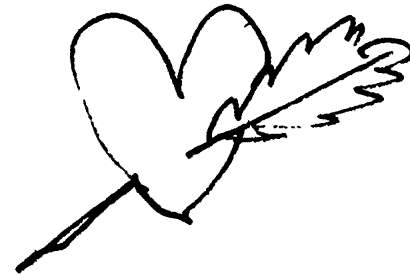
Спустились в «нижнее» кафе,
он был почти что в галифе,
ну, в чем-то старом и военном...
С притворной миной мой дружок
глядел, как лидер и божок
в своем юродстве откровенном
купил бутылку коньяку,
пирожных, яблок и сырку,
на чистый столик все поставил.
Присаживаясь, он сказал,
оглядывая полный зал,
что слово гостю предоставил.
Тот что-то глухо пробурчал
(видать, кого-то обличал),
и опрокинул полрюмашки.
А тот сказал: «Была беда,
и не простится никогда —
так близко подлость от промашки...
Я три минуты говорил...»

А зал заглатывал и пил,
питалася литература.
Я видел, как больной поэт
перед юнцом держал ответ.
Вдруг прыткая влетела дура
и крикнула: «Борис Абрамч,
кончайте ваш приятный ланч, —
(ей так казалось остроумней), —
уж секция давно сошлась,
и ожидают только вас...» —
и что-то из поэтских будней.
И я подумал: «Нездоров
поэт от горя и трудов,
от подлинной и мнимой боли.
За то и снисхожденья нет —
он сам так думает, тем боле!»
.....
Почти что через двадцать лет
в вагоне мягком, бит и сед,
я мчал в Тбилиси через Тулу,
и вспомнил этот разговор,
и стыд, и ужас, и позор
на миг затмил литературу.
Под залпы крови и судьбы,

Евгений Рейн

под звуки боевой трубы
прошел он гордо на трибуну,
где все сломал за пять минут...
Но мне не разобраться тут,
да и не мне метать перуны
в него... А где же мой сосед
по столику? И близко нет.
«Иных уж нет, а те далече».
И я налил себе вина,
чья правда здесь и чья вина,
и кто кому подставил плечи?

1984



В ПАРКЕ

Мой лучший адресат

В.Кирсанову

В закрытом на просушку парке
для разыгравшейся овчарки
разбег и холоден и мал.
Ее хозяин смотрит хмуро.
«Все прочее – литература»:
я раньше это понимал.

Среди песочниц и детей
все в том же парке через месяц
слезает белочка с ветвей,
через скамейку перевесясь,
берет орех.

Толпа глядит
и что-то понимает тайно:
жизнь не пуста и не случайна.
Вот то-то же. Толпа следит.
Молчанье на ее лице,
в начале слово и в конце.

1982

ПРИЦЕЛ

Я хотел бы сидеть в приличной шашлычной
Как-нибудь в апреле на финском взморье
над бутылкой забытой уже «Столичной»
И высматривать вас, находясь в дозоре,
Чтобы в дюнах зюйд-вест шевелил песочек,
И «Цветущий май» радиола крутила,
Чтобы местный стилига давил фасончик,
Заходил бы к даме с флангов и тыла.
Вы вошли бы и сели ко мне за столик,
Молодые, такие, как в шестидесятом,
Я сказал бы: «Привет вам, Дима и Толик!
Где Иосиф? Хлопочет опять с детсадом?
Сочиняет с картинками книжку для Насти
О Юсуфе, Гурзуфе и Черном море?»
Вот и он. И пускай за окном ненастье,
Нам-то что, если все мы сегодня в сборе.
Вы оттуда явились? О, как бледны вы!
Поскорее согрейтесь и закусите.
Может это свет такой от залива?



ЕВГЕНИЙ и ИГОРЬ

ДЕР. ПОРИНСКАЯ

16.V.1964 г.

Ничего, товарищи, не тужите.
Я не знаю, откуда вы долетели,
Дошагали, доехали, добежали,
Только руки ваши заолодели,
Там, где были вы, плохо вас утешали.
Да и мне приходилось довольно круто,
Только я, дорогие, другое дело –
Вас отвесили «нетто», меня вот – «брутто»,
И короста от времени затвердела.
Там, где к шведской премии вьется тропка,
Там и глупой нежитью веет гнусно,
Наша жизнь – не только переподготовка,
Но еще и дней череда, и это – грустно.
И немеет язык, и сухо в гортани,
И спасаешься лишь молоком матерним.
Я предсказывал все это вам заранее,
Но уж слишком хотелось вам роз и терний.
Возражаете? Что ж, я вас понимаю –
То да се, а главное годы минут,
Эту смятую рукопись вынимаю,
Только пусть сациви нам отодвинут.
Вот она – напечатана больше тыщи
В антологиях, сборниках, на листовках,
Так раскройте еще раз свои глазищи,

А потом разбегайтесь в своих кроссовках.
Вот и рифмы: «самоубийство – витийство»,
Лишь потом поставлено «византийство».
Уж как вы не говорили цветисто,
Получилось все-таки неказисто.
Но куда уж мне заколачивать уши,
Да и дух-то ныне совсем свободный,
Так давайте крикнем: «Спасите души»,
Наши души от вашей муры загробной.
Возвращайтесь, Дима и Ося тоже,
Мы вас встретим с Толей, хоть мы чужие.
Неужели все это было, Боже,
В Комарово ездили и дружили,
И питались чаем в известной «будке»,
За грибами шастали и за водкой.
Кто виновен – давно умывает руки,
Это он и стреляет прямой наводкой.
Вот оно – распроклятое это око,
Что примкнуло к снайперскому прицелу,
И теперь от запада до востока
Все направо пристреляно и налево.
И когда ты маешься в паутине,
И когда совмещается перекрестье,
Получает за голову по полтине

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

Этот снайпер, чье имя мне неизвестно
Нажимает курок – и давай в «Науке»
Издавай прованские переводы,
Нажимает снова – и в Милуоки
Едешь в старом «форде» как царь природы.
А потом он долго в пространство целит
И сбивает шапочку академий,
И затем затвором бряцает перед
Самым точным из снайперских нападений.
И лежу я, уткнувшись щекою в лужу
На Воровского, около «ЦДЛа» –
И тогда кладет он в заглашник душу
И цедит сквозь зубы: «Вот это дело».
Ну и ладно. Хоть там, наконец, сойдемся –
На пустой платформе чужого света –
И отстукаем в бывший мирок содомский
Телеграмму имени Ленсовета.

22 ОКТЯБРЯ 1984 Г.

ВТОРОЕ МАЯ

Мой лучший адресат

Памяти Ильи Авербаха

В такой же точно день — второе мая —
идти нам было некуда, а надо
куда-нибудь пойти.

И мы пошли
с Литейного через мосты и мимо мечети,
туда, где в сердцевине Петроградской
жил наш приятель.

Он не очень ждал нас.
Но ежели пришли — пришли.
И были мы приглашены к столу.
Бутылку водки принесли с собой
и в старое зеленое стекло —
осколки от дворянского сервиза —
ее разлили.

Ты — второе мая —
лиловый день, похмелье,
что ты значишь?
Какие-то языческие игры,
остатки пасхи, черно-красный стяг

Бакунина и Маркса, что окрашен
в крови и саже у чикагских скотобоев,
и просто выходной советский день
с портретами заместников, похожих
на иллюстрации к брюзжанью Салтыкова...

По косвенным причинам вспоминаю,
что это было в шестьдесят восьмом.

Мы оба, я и мой приятель,
а может быть, наоборот —
скорее, все-таки, наоборот,
стояли, я сказал бы, на площадке
официально-социальных маршей
той лестницы, что выстроена круто
и поднимается к неясному мерцанию
каких-то позолоченных значков.

Быть может,

ГТО на той ступени,
где не нужны уже ни труд, ни оборона...

Приятель наш был человеком дела,
талантом, умником и чемпионом
совсем еще недавних институтов.

Он на глазах переломил судьбу,
стал кинорежиссером и — заправским.

И снял свой первый настоящий фильм.

(И мы в кино свои рубли сшибали
в каких-то хрониках и «научпопах»)
Но он-то снял совсем-совсем другое,
такое, как Тарковский и Висконти,
такое же, для тех же фестивалей,
таких же смокингов и пальмовых ветвей.
Ах, пальмовые ветви, нет, недаром
вы сразу числитесь по ведомствам обоим —
экран и саван. Может, вы родня?
И вот сидели мы второго мая
и слушали, что кинорежиссер
рассказывал о Кафке и буддизме,
Марлоне Брандо, Саше Пятигорском,
боксере Флойде Патерсоне, об
экранизации булгаковских романов,
Москве кипящей, сумасбродной Польше,
где он уже с картиной побывал.
И это было все второго мая...
...Второго мая я сижу один
в Москве, уже давно перекипевшей
и снова закипающей и снова...
Что снова? Сам не знаю. Двадцать лет
на этой кухне выкипели в воздух.
Я думаю — и ты сидишь один

в своей двухкомнатной квартирке над Гудзоном,
который будто бы на этом месте,
коли отрезать слева вид и справа,
Неву у Смольного напоминает.
Но это и немало — у меня
все виды одинаковы, все виды
есть вид на жительство,
и больше ничего.

Там,

в этом баскетболе небоскребов
играешь ты за первую команду,
десяток суперпрофессионалов,
которые давно переиграли
своих собратий и теперь остались
под ослепительным оскалом
всесветского ристалища словес.
И где-нибудь на розовом атолле
сидит кудрявый быстрый переводчик
(не каннибал в четвертом поколенье)
и переводит с рифмой и размером
тебя на узелковое письмо.

И это —

финишная ленточка, поскольку
все остальное ты уже прошел.

счастье навсегда.

не работайте о
сиропетар
мелле
и несл



Ну что, дружок, еще случится с нами?
Лишь суесловие да предисловия.
А вот с хозяином квартиры петроградской
и этого не будет...
...А он стоял в огромном павильоне,
и скрученное кинолентой время,
спеша, входило, как статист на съемку
стрекочущего многокрыльем фильма.
Да вдруг оборвалось...

...Второго мая
мы все сидим в удобных одиночках
без жен, которых мы беспечно растеряли,
и без детей, должно быть затаивших
эдипов комплекс, вялый и нелепый,
как все вокруг.
И наша жизнь не в том...
А в том — за двадцать лет
мы заслужили такую муку,
что уже не можем пойти втроем
по Петроградской мимо
«Ленфильма», и кронверка,
и стены апостолов Петра и Павла,
мимо мечети Всемогущего и мимо
большого дома «Политкаторжан».

Откуда старики «Народной воли»
народной волей вволю любовались.
Мимо еще чего-то, мимо, мимо...
Вот так проводим мы второе мая.

Мой лучший адресат

1986

МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ

Иосифу Бродскому

ВСТУПЛЕНИЕ 1

Старый кинематограф

Старый кинематограф —
новый иллюзион.

Сколько теней загробных
мне повидать резон!

Это вот — Хамфри Богарт
пал головой в салат.

Только не надо трогать,
ибо в салате яд!

Вот голубая Бергман
черный наводит ствол.

Господи, не отвергнем
женственный произвол.

Жречествуй, парабеллум,
царствуй вовеки, кольт!

Грянь-ка по оробелым

выстрел в миллионы вольт!
Ты же хватай счастливец,
праведное добро.
Кто там снимает лифчик?
То — Мерилин Монро!
В старом и тесном зале,
глядя куда-то вбок,
это вы мне сказали:
«Смерть или кошелек!»
Здравствуй, моя отчизна,
темный, вонючий зал,
я на тебе оттисну
то, что не досказал,
то, что не стоит слова —
слава, измена, боль.
Снова в луче лиловом
выкрикну я пароль:
«Знаю на черно-белом
свете единый рай!»
Что ж, поднимай парабеллум,
милочка, и стреляй!



ИБ

ВСТУПЛЕНИЕ 2

Пятидесятые

Сороковые,
роковые,
совсем не эти, а другие,
война окончена в России,
а мы еще ребята злые.
Шпана по Невскому гуляет,
коммерческий, где «Елисеев»,
и столько разных ходит мимо
злодеев или лицедеев.
В глубокой «лондонке» буклевой,
в пальто двубортном нараспашку,
с такой ухмылкой чепуховой —
они всегда готовы пряжку,
кастет и «финку» бросить в дело
на Мальцевском и Ситном рынке.
Еще война не прогорела,
распалась на две половинки.
Одна закончена в Берлине,
где Жуков доконал Адольфа,
другая тлеет и поныне

и будет много,

много дольше.

Дойдет и до пятидесятих,
запрячется, что вор в законе,
и в этих клифтах полосатых
«ГТ» на взводе при патроне.

Они в пивных играют «Мурку»,
пластинки крутит им Утесов,
ползет помада по окурку
их темных дам светловолосых.

Перегидрольные блондинки
сидят в китайском креп-жоржете,
им нету ни одной заминки
на том или на этом свете.

Вот в ресторане на вокзале
кромешный крик, летит посуда,
бандитка с ясными глазами
бежит,

бежит,

бежит оттуда

и прячет в сумку полевую
трофейный верный парабеллум,
ее такую боевую,
не схватишь черную на белом.

И это все со мной случилось
и лишь потом во мне очнулось,
в какой-то бурый дым склубилось
и сорок лет спустя вернулось.
Я вижу лестницу витую
на Витебском и Царскосельском.
Не по тебе одной тоскую —
еще живу в том свете резком.

ВСТУПЛЕНИЕ 3

Полчаса до темноты

Полчаса до темноты —
вот теперь давай на «ты»!
Щекоти намокшим мехом
в полусвете полудня.
Я пошарю по прорехам,
не отталкивай меня.
Здесь под балкой потолочной
темный царствует ремонт,
мимо нас туман проточный
проскользнул за Геллеспонт.

Если будем вечно живы,
то отправимся в Стамбул.
Там оливы и проливы —
сокол их перепорхнул.
В голубой весенней юбке
ты закажешь коньяка,
все туманные поступки
проясняются слегка.
И тогда под минаретом
мы припомним этот день,
ежели тебе при этом
будет вспоминать не лень
той разрухи капитальной
коммунальный коридор,
поцелуй,
 почти опальный,
и укромный разговор.
Как с тобой легко и жутко,
что ж ты смотришь сверху вниз?
Поднесли поближе шубку,
растегнись
 и отвернись.

Тринадцатое ноября

Я долго прожил за «Аттракционом»
в Четвертом Барыковском переулке
в Замоскворечье возле Пятой ТЭЦ.
Что значит долго? Просто девять лет.
И вот пошли отчаянные слухи,
что дом наш непременно забирают
под неопределенную контору.
Никто не верил. Вышло — точно так!
Я переехал и забыл про это.
Так что хочу тебе я рассказать?
Что кто-то там ведет свою таблицу
коварного слепого умноженья
и шулерски стасовывает карты,
чтобы потом подкинуть их в игру,
и, выиграв, залиvisto хохочет.
Вот и сегодня, о, совсем случайно,
я позвонил тебе после полудня
и предложил пойти куда угодно
часа в четыре.

А куда пойдешь?

Туман и мокрый снег Москву накрыли,
так отвратительно печальны рестораны,

где туго с водкой, круто с коньяком
А выставки? Что надо — мы видали,
в прочее и видеть не хотим.
Пойдем в кино? Конечно! А куда же!
Там хорошо, там пряники в буфете,
разбавленный, слегка прокисший сок.
Тогда уж встретимся в «Аттракционе» —
днем там пустыня, вот и хорошо.
— Ты видел этот фильм? — спросила ты.
— Да, видел, — я ответил, — но не стану
разоблачать сюжет, погибнет тайна,
словечко лишнее — и кончен интерес.
А впрочем, чушь, великие актеры,
да и кино... там не в сюжете суть.
А что касается меня,

я так люблю

Америку годов пятидесятых, сороковых —
мужчины в светлых шляпах,
двубортные костюмы, «кадиллаки»,
тяжелые, что ступки, телефоны,
ковры, отели, гангстеры с кобурой
под левой мышкой — что за красота!
Какой она была — никто не знает,
что стало с ней — придумал Голливуд.

А называется кино «Мальтийский сокол».
И этот фильм я видел двадцать лет
тому назад, и не поверишь где —
в двухкомнатной квартире на Ордынке...
Там жил, а ныне выехал надолго
на кладбище Немецкое один
теперь совсем забытый человек
по имени Викентий Тимофеев.
Был у него домашний кинотеатр...
— Да ты все врешь...
— Вру, но не все, послушай...
Когда-то в молодости он служил в посольстве
киномехаником и получил в подарок
проекторный аппарат и три-четыре ленты,
среди них и «Серенаду солнечной долины»,
по коей мы тогда с ума сходили,
три фильма Чаплина — «Диктатора», «Огни...»
и «Золотую лихорадку» — самый
великий фильм на свете, и еще
вот этот самый фильм «Мальтийский сокол».
Викентий Тимофеев, когда я знал его
чудил, в литературе правил бал.
Он далеко ушел из кинобудки,
стал основателем журнала «Детский сад»,

уговорив сильнейшее начальство
вручить ему дошкольную словесность.
В дому его, весьма гостеприимном,
где всякий раз менялася хозяйка,
толкались молодые претенденты
на лавры Самуила и Корнея.
Ужасный, доложу тебе, народ!
Кто без пальто в январские морозы,
кто без ботинок в мартовские лужи,
кто без белья под кроличьим манто —
все сочиняли что-то быстро, ловко,
случалось изредка, что очень хорошо.
И некто там надиктовал на пленку
за десять дней почти полсотни сказок,
где воевали мыши, да ужи.
(Импровизатор — он был враг бумаги).
«Уж — это гад ветхозаветный явно,
но зашифрованный в дошкольном варианте», —
заметил теоретик Тимофеев.
Но, кажется, совсем не угадал —
тот до сих пор живет на эти сказки...
Уж там, уж сям, уже ужи в балете,
уже ужи на кинофестивале,
и даже он на форуме всемирном

был удостоен Третьего Ужа,
поскольку Первый и Второй достались
какому-то УЖАсному акыну,
но в этом наш ужист не виноват.
Бывали там дельцы и дипломаты,
посланцы азиатских территорий
(что лопотали по своим делам).
Считалось шиком ящик коньяка
втащить туда по лестнице щербатой,
и потому полно девиц умелых
и дошлых дам к Викентию ходило...
Там жил и я, глядел кино и басни
рассказывал в распаренном застолье,
крутили эти фильмы день и ночь...
Но Чаплин — что ж! Он — классика, а этот
«Мальтийский сокол» — рядовой шедевр.
Но почему-то он запал мне в душу,
и полистал я старые книжонки
и раскопал, откуда все пошло.
Гроссмейстер Ордена Мальтийского когда-то
в знак преданности в Рим отправил Папе
фигурку птицы, ясно золотую.
Но в золоте ли дело? Дело в том,
что в это золото оправили такие

рубины, изумруды и алмазы,
что даже Папа ахнул, прочитав
письмо гроссмейстера
(пергамент сохранился).

Но птица до святейшего престола
не долетела.

— Но была она на самом деле?

— Да, была. Я думаю, гроссмейстер
не стал бы Рим дурить.

И все, что он писал про эти камни —
все было правдой. И к тому же
мальтийский адмирал признался,
что выкупил себя и всю команду
вот этим соколом, когда его эскадра
попала к туркам в плен.

Но это все историкам известно.

А дальше романист присочинил,
что, дескать, объявился он в России,
добрался до Орлова Алексея...

В романе сказано, что правнук Алексея,
а вместе с ним и сокол объявились
в Крыму при Врангеле, потом Стамбул,
Париж...

Об этом и проведала компашка

авантюристов, рыскавших по свету,
ну, предыстория была им безразлична,
но сокола они добыть решили
и переправить через океан.
Тут, может, я сбиваюсь, так давно
я все это увидел, и время действия,
быть может, сорок первый
иль около, когда союзники
среди нормандских пляжей
сто тысяч положили под стволы
немецких раскаленных пулеметов,
гораздо раньше, чем Георгий Жуков
пробился к райху и занес приклад
над головой с непобедимой челкой.
Тогда вот в Сан-Франциско частный сыщик
(играет Богарт) предложил клиентке,
прекрасной, словно ангелы распутства,
свои услуги (это Ингрид Бергман).
Клиентка молча выписала чек,
и дело завертелось...

Вроде кто-то

ее преследовал.

И в этот самый день, вернее, вечер
помощник детектива был застрелен

в густом тумане около реки.
Полиция решила — это сыщик
убрал собрата,
но сыщик никого не убивал.
Его подставила и чуть не погубила
та самая клиентка. Вот она
как раз охотилась за соколом мальтийским,
и этот сыщик стал ей поперек.
Случайно — он и сам не знал об этом.
Запутанный сюжет, потом поймешь.
Кончай свой кофе, закрывают зал,
не то мы опоздаем...
.....
Здесь пропускаю ровно два часа...
.....
Стемнело, а туман еще сгустился.
— Пойдем, подышим сумрачным преддизимьем
и, кстати, посетим мой переулок,
тот самый, тот, Четвертый Барыковский.
Я не бывал здесь года полтора.
Вот церковь обойдем, и сразу будет
тот дом, где бедовал я девять лет.
— Ну что, кино понравилось? — Да, очень! —
— Ты понимаешь, это сказка,

особенно для нас, Шехерезада,
но что-то бродит в ней на самом дне,
какой-то образ, символ и намек...

— Ты объясни — какой?

— Ты помнишь кадр: помощник детектива
в тумане ждет кого-то... Мы понимаем
по его лицу, что этот человек ему знаком,
и он не опасается его.

Но главное —

туман, густой туман и люди — точно
рыбы через воду...

Вот крупное лицо усталой жертвы
в намокшем борсалино набекрень.

И вдруг мы видим, как в туман вползает
неотвратно ясный револьверчик...

...И покатилося борсалино быстро
в тумане роковом, потом пропало...

— Я поняла тебя. Да, это главное,
здесь ось, вокруг нее

и вертится вся лента...

— Постой, а где же мой старинный дом?

Дом был на месте, только на ремонте.

— Пойдем, посмотрим, что там натворили.

— Пойдем, посмотрим... Вроде повезло,

не слишком дело двинулось у них,
еще не сломаны полы и перекрытья,
и двери не забиты... Так зайдём же...
— Зайдём, зайдём... — А вот моя квартира
на семь жильцов, теперь она пустует,
вот комната на первом этаже.
А под окном стоял жасмин могучий,
и был он украшеньем бедной жизни
все девять лет.

Жасмин они срубили.
Ремонт, неразбериха, перестройка.
Паркета нет, но есть ещё обои
и крюк с лепниной, на котором долго
покачивался абажур — его я перевез
из Ленинграда, из довоенных лет.
Он видел маму и отца, убитого под Нарвой,
блокаду выдержал...

Так, не споткнись,
я спичкой посвечу. Ты не находишь,
что-то есть такое,
задуманное на далеком небе,
что мы попали в эту вот квартиру,
разбитую туманную пещеру?
— Конечно, нахожу. Но так бывает

всегда, они следят за нами
и подбирают крап на узких картах
и мечут без ошибки их на стол.
— Теперь послушай: я люблю тебя,
люблю давно, с той самой глупой встречи
в том суетливом тягостном дому.
Ты знаешь ведь, что я в виду имею?
— Конечно, знаю.
— Я глядел, глядел и отводил глаза...
— А было все нестрашно...
— Я думаю, что было все непросто.
— Ну, это чепуха, твои химеры!
— Химеры-то как раз не чепуха,
как налетят, как на постель присядут
и все лопочут: ша-ша-ша-ша-ша!
— Но что-то есть полезное в химерах,
видать, они в родстве с мальтийской птицей,
они, быть может, и накликали ее?
— Пожалуй, слишком просто...
— Слишком сложно...
— Пойди сюда, сними свою шубейку,
тут был крючок на стенке,
вот он цел!

сюда плывут пустым жемчужным светом,
как бродят тени плавниками
зелеными на этом потолке...
— Что будем делать?
— Будем жить, как прежде,
ну, может быть, чуть-чуть, чуть-чуть иначе.
Большие перемены ни к чему.
— Нас не запрут в твоём фамильном склепе?
Там кто-то бродит под дверьми и как-то
металлом угрожающе звенит.
— Да нет, пустое, это слесарь или
ремонтник что-то подбирает,
снесет народу и стакан получит
свежайшего родного самогона.
— Как сыро, я бы выпила глоток...
— Нет ничего, вот только сигареты.
— Я не курю...

Мы вышли на бульвар,
и я подумал: два сеанса птицы
отрезали от жизни двадцать лет...
.....
И был еще один туманный день когда-то...
Стоял я около реки Фонтанки и ждал жену,
и подошла жена. Я заломил покрасивее шляпу

(тогда еще носили шляпы).
И было это там, где Чернышев
сковал цепями башни над водою.
А жизнь катилась по своим ухабам,
ни шатко и ни валко...
Я зарабатывал чуток на «научпопе»,
в журналах детских, радио бывало
передавало очерк или куплет,
что добавляло роскоши и неги:
поездка на такси, поход на крышу
ресторана «Европейский»
и туфли для жены из венской кожи.
И этого вполне, вполне хватало.
А рядом были добрые друзья —
художники, геологи, поэты,
и у иных достаток был скромнее —
все это мало волновало нас.
Мы собирались в кинотеатр «Аврора»,
и до начала было семь минут.
— Пора, пошли, не то сеанс пропустим.
— Постой минутку, дай я покурю, —
жена сказала. Сумочку открыла,
размяла сигарету и затем
английскую достала зажигалку,

такой изящный черный пистолетик,
игрушку, привозную ерунду.
И я увидел вдруг, как зажигалка
потяжелела, вытянулся ствол,
покрылась рукоять рубчатой коркой,
зрачок мне подмигнул необъяснимо...
Я не услышал выстрела, я был
убит на месте, стукнулся башкою
о полустертый парапет моста, а шляпа
полетела вниз в мазутные потоки
и поплыла куда-то в Амстердам.
Очнулся я в Москве, спустя три года
и долго ничего не понимал...
Потом сообразил — мальтийский сокол —
вот, где разгадка, все его проделки...
.....
Бульвар московский забирался в гору
и выводил к заброшенному скверу,
затиснутому в тесноту Таганки,
затем спуская круто вниз к реке.
— Присядем здесь, немного я устала.
— Ты знаешь, если забрести в тот угол,
то там стоит какой-то старый чертик,
какой-то мрамор, может быть остаток



усадьбы старой. Я всегда хотел
поразузнать о нем, но все заботы,
все недосуг, а впрочем, как у всех;
а я его давным-давно приметил.

Но час настал — пойдем и разберемся.

— Пойдем и разберемся — час настал!

— Вообще я помню что-то в этом роде
у нас в дворцовых парках Петербурга,
но как-то поантичнее, получше.

А здесь-то, видимо, была усадьба
московского дворянчика, купчишки,
и он купил дешевую подделку
в каком-нибудь Неаполе лет сто
тому назад...

— Да, вот она. А что все это значит?

— Вот видишь, дама, бывшая красотка,
не первой свежести, но все же хороша.

Приятная фигурка, ножки, грудки —
все так уютно, как у Игнрид Бергман.

Она глядит таким туманным взором,
доверчивым, открытым, дружелюбным
и обещающим полулюбовь и полу...

А рядом — это символы ее.

Здесь на плече была, пожалуй, птица,

но только голову ее отколотили,
а под рукой у дамы некий ящик,
и что-то в нем нащупала она.
(Ты помнишь, ящик был и Пандоры).
И надпись есть на цоколе замшелом,
ведь это аллегория, должно быть...
Внезапно спутница моя сказала,
не вглядываясь даже в эти буквы:
— Я, пожалуй, знаю. На нем написано
«La Tradimento», по-итальянски —
черная измена, обдуманное тайное
коварство... — Ну и ну!..
Откуда же тебе известно это?
Ты здесь бывала? — Что ты, никогда.
Но нам известно. Это «коза nostra».
Туман, туман над всем московским небом,
в тумане вязнет куртка меховая
и челочка разбухшая твоя.
Туман бледнит парижскую помаду,
развеивает запахи «Мицуки»
и чем-то ленинградским отдает,
тем самым, стародавним, позабытым...
— Ну что, пора? — спросил я. — Да, пожалуй.
Сегодня было очень хорошо.

Через туман глядел я ей вослед.
Расчетливо раскачивая бедра,
в распахнутой пушистой лисьей куртке,
и лайковая сумка на ремне, —
и вот перед последним поворотом
она через туман кивнула мне,
как заговорщица — почти
неразличимое лицо, —
овальный циферблат моей надежды
показывал ноль-ноль часов одну минуту...
Невежда, полужайка, знаю я:
пифагорейцы точно рассудили,
что вечен круг преображенья жизни.
Но в человеческой судьбе загадка есть,
какой-то повторяющийся образ —
попробуй-ка его уразумей.
И то, что нам показывал Викентий
на рваной простыне, когда она
от выстрела в затылок прогорела, —
всего лишь детективный эпизод
чужого фильма... Или нет, не только.
А впрочем, пифагорейская все это чепуха...
Поскольку ход судьбы непредсказуем,
то произвол творит мальтийский сокол,

бессмысленно петляет он, и все же
всегда свое гнездо находит он.

.....

Да, Аристотель прав, сей сокол божество:
ему готовится повсюду торжество*.

1987

- * Последнее двустишие есть парафраза стихотворения Батюшкова:
Все Аристотель врет! Табак есть божество:
Ему готовится повсюду торжество.
Автору также известно, что главную роль в реальном фильме играет не
И.Бергман, а М.Астор.

ДЖИМ

Старый бродяга в Аддис-Абебе...

Н.Гумилев

Старый бродяга из Коктебеля,
одиннадцать лет собачьего стажа,
почти чистокровная немецкая овчарка,
ты разлегся у меня под ногами,
безразличен к телевизору, к суматохе на веранде.
В страшном ящике — полуфинал футбола,
за столом — последние сплетни, —
даже к ним ты равнодушен.
А ведь ты известен в самых дальних странах:
в Лондоне, Нью-Йорке, Монреале,
в Сан-Франциско, Мюнхене и Париже
тебя вспоминают.
Потому что многие прошли через веранду.
Ты гремел навстречу им цепью,
лаял охотно или так, для отчета,



I Always
Bae

тогда освобождали твой ошейник.
Грудь свою раздувая достойно,
появлялся ты на веранде.
«Джим, — кричали тебе, — Джимушка, Джимчик!»
Это было приятно.
Но достоинство — вот, что основное.
Гости приходят и уходят,
но немецкая овчарка остается.
Год за годом приходили гости,
год за годом говорили гости,
пили пиво, чай, молоко и водку,
повторяли смешные словечки:
«мондриан», «шагал», «евтушенко»,
«он уехал», «она уехала», «они уезжают»,
«кабаков», «сапгир», «савицкий», «бродский»,
«джексон поллак», «веве набоков», «лимонов»...
и опять — «уехали», «уезжают», «уедут»...
Вот и стало на веранде не так тесно,
но всегда приходит коровница Клава
и приносит молоко в ведерке,
и шумит, гремит проклятый ящик.
Дремлешь, Джим? Твое, собака, право.
Вот и я под телевизор засыпаю,
видно, наши сны — куда милее

всей этой возни и суматохи.
Не дошли еще мы до кончины века,
уважаемая моя собака,
почему же нас обратно тянет
в нашу молодость, где мы гремели цепью?

1987



ЗАВТРАК НА БАЛКОНЕ

Поздно утром на торцевом балконе
голубого курятника в приморском парке —
яйца всмятку, редиска и во флаконе
зарубежном — напиток домашней варки.
Плюс геополитика в свежей «Правде»,
плюс письмо из имперской бывлой столицы —
это слишком, и я понимаю, вряд ли
я сумею свое взять и поделиться
с этим мальчиком в перелицованных брюках,
что обменивал хлебный талон на марки,
со студентом, канал обходившим Крюков
и шептавшим Брюсова без помарки,
с бестолковым любовником, что однажды
влез в кровать по расштанному карнизу,
с тем, у коего, все навсегда отнявши,
бог удачи продлил золотую визу.
Они были лучше, чем я, атлеты,
тот бегун, тот стайер в соленой майке,
потому сейчас, в середине лета,

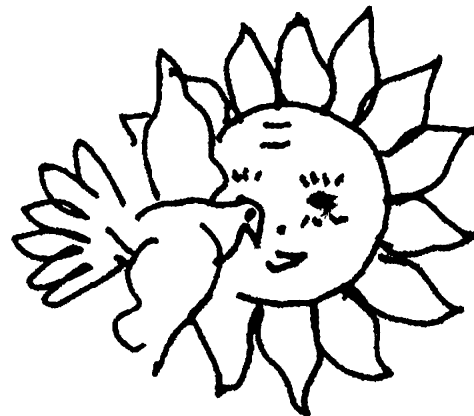
сообщаю это им без утайки:

— Что ж вы робко теснитесь под тентом, тени?

Все здесь ваше, а я заказал лишь столик.

Так раскиньте в плетеных креслах колени,
громовержец, шептун, сластолюбец, стоик.

1987





Памяти 10 марта 1966 года

На старой-старой хроникальной ленте
я вижу снова этот темный день,
весь этот сбор — по мелочи, по лепте.
И не понять — он больше или меньше
всей прочей жизни, — да и думать лень.

Морской собор в застуде и в осаде,
цепочкой перевитая толпа,
два милиционера на ограде.
В каком таком Петра и Ленин граде
протоптана народная тропа?

Цветы замерзли. Тучи потемнели,
автобус принимает пышный гроб.
Зачем же вы стоите на панели,
неужто вы и вправду не сумели
киностекляшке глянуть прямо в лоб?

О милые, о смазанные лица,
прошло сто лет, и вас не различить.

Пока дорога снежная пылится,
пока скорбит убогая столица,
что делать нам? Нам остается жить.

И вы, друзья последнего призыва,
кто разошелся по чужим углам,
еще вот здесь, на старой ленте живы,
еще шумит, галдит без перерыва
немая речь с подсветкой пополам.

1987

Дом Мурузи

Возле храма Св. Пантелеймона,
у вокзала,
где толпа красавца-антиленинца
растерзала,
дом доходный, девятиэтажный,
в мавританском стиле,
кто с достатком, да и те, кто с блажью,
там и жили.
Анфилады зал, гостиных, кабинеты, спальни,
а на именинах, на крестинах так хрустальны
эти баккара, бокалы, рюмки, вазы,
эти броши-розы, броши-лунки, бриллианты, стразы...
Там была квартира в бельэтаже —
вид на церковь,
и когда-то в ней бывали даже
Фет и Чехов,
Соловьев, Леонтьев, и Бугаев, и Бердяев,
и немало также благородных разгильдяев.
А какие пирожки, эклеры, а ботвиньи!



Даже анархисты и эсеры не противны.
С этого балкона так удобно виден митинг,
и швейцар расспросит: «Что угодно?» —
ражий викинг.
Но куда-то он исчез однажды
(говорят, в эсдеки).
Под балконом головы задравши,
человеки
все кричали: «На-кася и выкуси по-таковски!»
Горячо им возражали Гиппиус и Мережковский.
Но матросы с золотом на ленточках
в буром клеше
отзывались об антиленинцах
еще плоше.
Были все резоны перелистаны —
мало толку,
а ВИКЖЕЛЬ ручищами землистыми
разводил, и только.

1987

В СТАРОМ ЗАЛЕ

В старом зале, в старом зале, над Михайловской и Невским,
где когда-то мы сидели, то втроем, то впятером,
мне сегодня в темный полдень поболтать и выпить не с кем —
так и надо, так и надо и, по сути, поделом.

Ибо что имел — развеял, погубил, спустил на рынке,
даже первую зазнобу, даже лучшую слезу,
но пришел сюда однажды и подумал по старинке:
«Все успею, все сумею, все забуду, все снесу».

Но не тут, не тут-то было — в старом зале сняты люстры,
перемешана посуда, передвинуты столы,
потому-то в старом зале и не страшно, и не грустно,
просто здесь в провалах света слишком пристальны углы.

И из них глядит такое, что забыть не удастся, —
лучший друг, и прошлый праздник, и — неверная жена.

Может быть, сегодня это наконец-то разобьется
и в такой вот темный полдень будет жизнь разрешена.

О, вы все тогда вернитесь, сядьте рядом, дайте слово
никогда меня не бросить и уже не обмануть.

Боже мой, какая осень! Наконец, какая проседь!

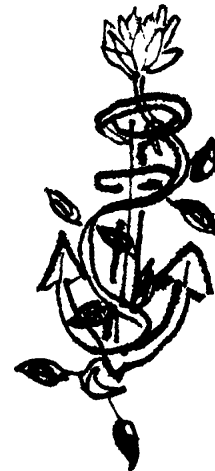


ЕВГЕНИЙ РЕЙН

Что сегодня ночью делать? Как мне вам в глаза взглянуть!
Этот раз — последний, точно, я сюда ни разу больше...
Что оставил — то оставил, кто хотел — меня убил.
Вот и все: я стар и страшен, только никому не должен.
То, что было, все же было.

Было, были, был, был, был...

1987



АВТОРУ «УРАНИИ»

Мой лучший адресат

Наступит день, когда смешаются манеры,
наполнят саркофаг, захлопнут мавзолей;
дождемся же конца прекрасной нашей эры,
и будет нам лежать прочней и веселей.
Туда войдет углом александрийский камень
и ордена друзей — почетный легион;
и грянет Мендельсон, как подголосок мамин,
тогда-то и кадавр набьется целиком.
Одна рука в Москве (Озириса — Изида),
другая голова — (Афины — Арканзас).
Придется прихватить такого паразита,
что он в последний час откажется от нас.
И все-таки, когда дежурные сержанты
верхом на хрустале разделят холодец,
не будем, шер ами, упорно кровожадны,
простим им все и вся и даже, наконец,
копеечные дни, смертельные ошибки,
сумбурных наших дам в расширенных трусах,
турусы на Неве, кургузые нашивки

Евгений Рейн

и вежливую вошь в опальных небесах.
Нас четверо еще и потому нас двое,
а в люльке голосит доцент и педагог,
который утвердит свое передовое
учение для тех, кто слаб на передок.
И все сойдет на нет — «Союзы-Аполлоны»,
иудин поцелуй, непрошенный транзит,
и только детский хор темно и просветленно,
как ранний Еврипид, эпоху отразит.

1988

Шекспиру, Зюевшему Заранее
Возможности мадам Урании



С безграничной нежностью,
с благодарностью и с
любовью

от Дачеда

Прислушайся: карточный двигатель
поет о внутренней стороне,
а не о том, куда он выкатился
об упрямстве в умирании

— Вот создавшее "Ураши".

ЯПОНСКОЕ МОРЕ

Пиво, которое пили в Японском море, —
Слабое пиво. О, слабые воспоминанья!
Разные случаи, которые происходили,
Драки и выверты — разве мы их понимали?

Лезет Японское море, шипя побеленною пеной;
Юркий прожектор то лица покажет, то локти.
Тычется в море один островочек военный,
Где отпускают под воду подводные лодки.

Радиомузыка ходит по палубам, палубам.
Музыку эту танцуют, и плачут, и любят.
Водку сличают с другими напитками слабыми.
После мешают и пьют — надо пить за разлуку.

О, не забудь эти танго и эти обеды,
Вести в газетах и книгах, написанных скоро,
О, не забудь ни единой нарочной обиды,
Всякие смерти и дивную смерть Луговского.

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

Люди плывут, как и жили. Гляди: все понятно.
Век разбегается, радио шепчет угрюмо:
Эти некрологи, песенки и оппоненты.
О, иностранное слово, среди пароходного шума!

1958–1988

ВЕНЕЦИАНСКИЙ КОТ

Мой лучший адресат

И.Б.

О чем ты думаешь спокойно,
с моста взирая на канал?
Ты долго шел путем окольным,
на набережных спуск искал.

Ты ждал подмоги из лагуны,
за высотой следил не зря,
снял и ставил караулы,
где чешуя из янтаря.

Тебя не привлекали толпы,
ты был вовеки одинок,
гулял ты по Пьяццетте долго,
где вечность, что морской песок.

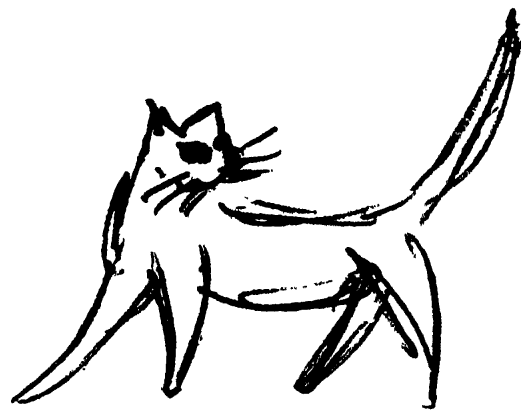
Отвергнув мелкие интриги,
не удивлялся ничему.
И у столба, где лев при книге,
ты не завидовал ему.



Тебя ловили частой сетью,
ты поступал наоборот.
Ты был один за всех на свете —
простой венецианский кот.

Мой лучший адресат

1993



Голос

И.Б.

Издали, из двадцатипятилетней воронки
голуби, горлицы, жаворонки,
в сумрачном зале под Тинторетто
словно бы облик, сошедший с портрета,
ключик скрипичный с нотной линейки,
поезд с развинченной узкоколейки,
ангел чугунный с палаццо зимы,
раны отдельно от пальцев Фомы.
Он долетел до меня из растрещины
темного времени, словно от женщины
дети, и свет от прожектора в море,
пасти тоннеля, свечи в коридоре,
голос почти монотонный, но он
больше раската и ярче, чем сон.

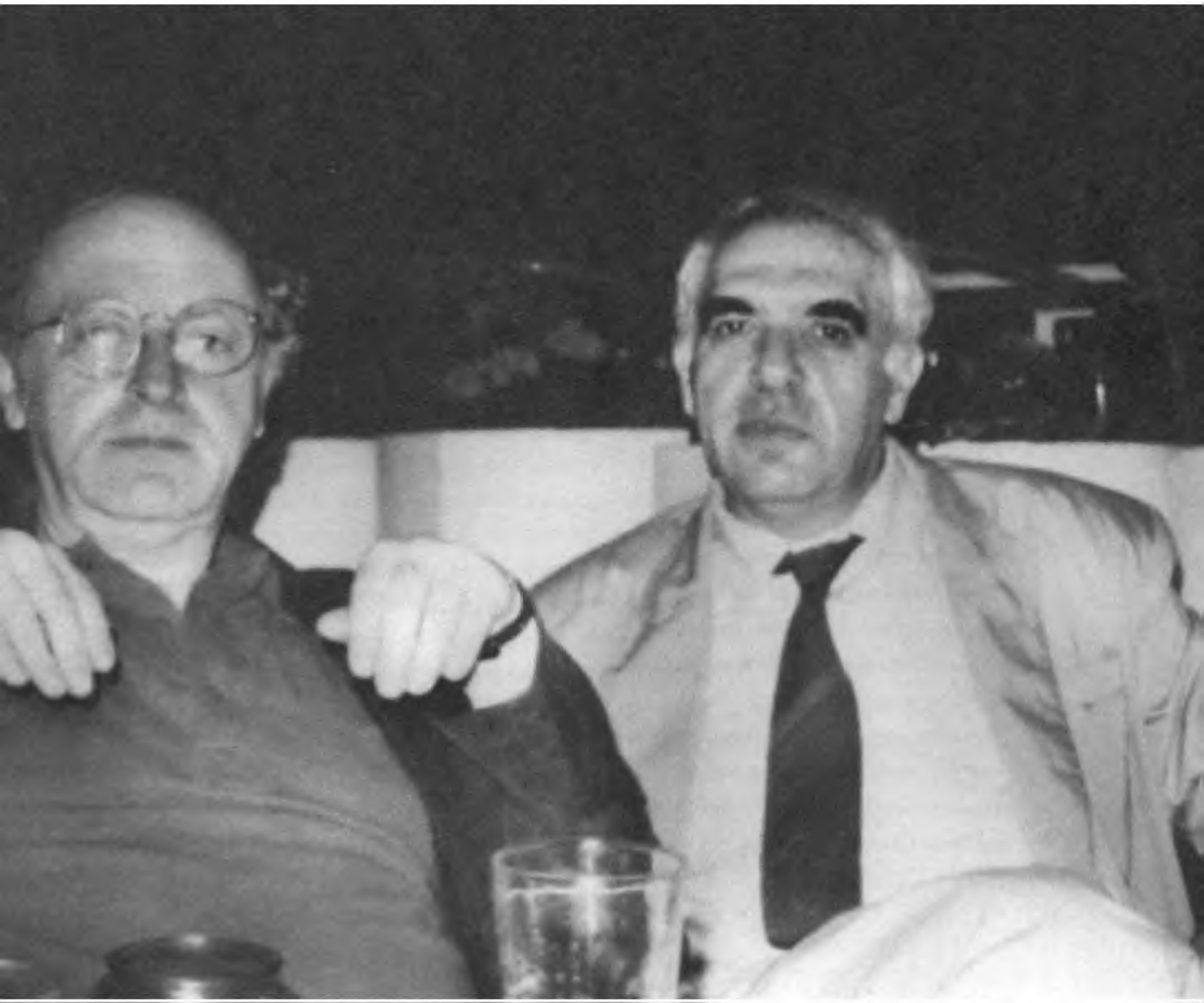
1993



*В ушную раковину Бога,
Оглохшую к исходу дня,
Скажи всего четыре слога:
«Прости меня».*

И.Бродский

Прости за то, что слабый, старый
я не всегда открыт Тебе,
за то, что голос небывалый
не царствовал в моей судьбе.
За то, что не всегда воочью
Ты предстоял передо мной,
прости, что засыпал я ночью,
а днем и вовсе был не Твой.
Прости меня, мне жизнь постыла,
но дай добраться до конца.
Прости меня за все, что было
во имя Сына и Отца.



Прости меня. Прости. Я знаю,
что безысходно виноват,
что я Тебя не понимаю,
а Ты мне все же будешь рад.

Мой лучший адресат

1993

ЭПИТАФИЯ-2

На железной скамейке, что в скверике на Поварской,
на клеенчатой сумке в разгаре московского лета
он лежал, привалившись откровенно больной головой,
все еще не признавшей козырную масть камуфлета.

Боже мой, неужели? Какая тут речь о кирзе,
белозубой змее и каких-то застежках распада —
вот он сел на скамейке во всей погоревшей красе
и, увидев меня, приосанился, как для парада.

Что-то он бормотал: «Ипполит, Ипполит, Ипполит» —
из античных ли штудий, а может из собственных версий,
но все слышалось мне: «и болит, и болит, и болит»,
так он пальцем крутил, словно в мозг добиваясь отверстий.

А ведь верно — ему услужали Эрот и Гермес,
это он наводил многоумную тень на экраны,
почему же его не спасает всемирный прогресс,
с глаз долой отправляя куда-нибудь в дальние страны?

А быть может, был прав этот заокеанский поэт,
схоронивший его невзначай посреди перевала...
Он остался на той половине дороги, и нет
эпитафии лучше, хоть эта судьбу переврала.

1994

МИЛАНСКИЙ СОБОР

«Тридцать лет миновало, а куда — непонятно,
их пространство вобрало или время вернуло обратно.
Может, попросту ссыпались с черной небесной лопаты,
или ими насытились Овн, Скорпион и Плеяды...»
Это старые строки. Но здесь они больше уместны,
пробежали все сроки, и договор выполнен честно.
Наше время ушло, а взамен седина и руины.
Впрочем, стоит подумать, что мы не прошли середины.
Потому что еще то, что было, нас держит за души,
с нами ест, с нами пьет и скулит, разбивая баклуши,
ночью вводит морфин, подает утром кофе-эспрессо.
Поглядим, поглядим, чем кончается долгая пьеса.
Все случается вдруг и ложится на дно, как подлодка,
это бред и недуг — отойди, позабудься, подлюга.
Не уходит, стоит, точно Гамлет-отец в Эльсиноре.
Ну, а если уйдет, я его задержу в коридоре.
«Что оставил меня? Без тебя я ничто, я — туманность.
Отпусти, говорю, знаю я твою хитрость и жадность.
Мне пора в небеса, превратиться в великое зеро.

Ну, еще полчаса, полчаса проведу у барьера».
Мой барьер — это ты. Ты, Италия, в пасмурном блеске.
Я к тебе подходил тридцать лет, как указано в песке.
И теперь, наконец, ты лежишь, сапожок, подо мною,
или сам я стою под твоей золотою стеною.
Как твои корабли, поезда и воздушные трассы,
я вблизи и вдали тебя с римской увижу террасы.
Вот Сан-Марко стоит, бьет в Венеции полдень чугуно,
свет твоих жемчугов — проливает свой полдень лагуна.
Гнилью веет канал, умным львенком ширяет Пьяццетта,
но он страшен, оскал безнадежного мертвого света.
Станешь ты навсегда неделима, невинна, незрима,
Колизея дуга посреди нестерпимого Рима.
Сто булыжных времен, сто колонн, десять тысяч фонтанов,
семь холмов, семь домов, пятьдесят миллионов платанов.
Арно глинистый ил и могил гробовое палаццо
никуда не уйдут, не умрут, оживут, разболятся
посреди синевы, черноты, даже рая и ада,
в переулках Москвы и в полярных полях Петрограда.

* * *

Было ветрено, холодно, начинался и всхлипывал дождик,
некто конный томился пустынной среди площади.

И один только вышел навстречу какой-то острожник
и сказал мне по-русски: «Приезжий, ужо, погоди!»
Он светлел перламутром игольчато-витиевато,
Воздевал через дымку чудные свои острия.
Совершенно уверен: я все это видел когда-то.
И вот тут-то действительно с неба упала струя.
Сверхъестественный дождь над Италией, над Палатином,
над Сан-Марко, Уффици, Везувием, Пизой чужой.
Он сквозь воду глядел горемычным огромным блондином,
в эту ночь, в этот час оставался великой душой.
Никого, ничего... Может, даром старался Висконти,
шесть веков возводя эту гору насмарку, в отсев.
Заострялся он вычурно и на фронтоне и фронте
был смущенным и мокрым и был полоса к полосе.
Кто-то мрачно стоял на последнем возвышенном шпиле,
я пытался его разглядеть в неземной высоте.
Друг на друга глядели мы, прошлую жизнь ворошили,
посылали поклоны единственной общей звезде.
Мы похожи, мы оба... мы оба чудны и нелепы,
оба так затянули восшествие в некий простор,
оба были на небе и снова уходим на небо,
оба были в осадке и вновь выпадаем в раствор.
Придается все, лишь тебе не дано примелькаться,

дни проходят, и годы, и тысячи, тысячи лет.
В серой пене дождей и под выкрики всех деклараций
мы с тобою вдвоем эту пасмурность сводим на нет.
И когда проливная стихия дошла до кипенья,
и когда я почувствовал, как нестерпимо знобит,
я услышал за портиком сильное, ясное пенье —
это хор выступал из моих аонид и обид:
«Ничего, ничего, продолжай, не стесняйся, не бойся,
поступай, как умеешь, чуди, пропадай и вставай.
Ты отпущен на волю. Тебе не положена польза,
а положены только чистилище, ад или рай.
Я тебе говорю, я имею законное право.
Ты пришел этой ночью, ты тоже добыча моя.
Все твои времена на тебя и ходил я в облаву,
и тебя я заманивал в эти места и края.
И теперь-то мы вместе. И это чего-нибудь стоит.
Будешь жить у меня. Я ведь тоже нуждаюсь в тебе.
Утверждаю навеки. Смотри, это мой астероид
сургучом мироздания к твоей прилепился судьбе.
Ты устал. Ты измучен. И кожа на куртке промокла.
Возвращайся, надейся, гляди безутешные сны,
в этой пышной постели под сталью и пылью Дамокла
закрывай свои очи. Они еще будут нужны».

В сумраке золотом,
Там, где прожектора...
Это о чем? О том,
Где мы с тобой с утра.
Бреда, Уффици и
Прадо и Эрмитаж...
Что же ты, освети
Эдакий раскардаш.
«Старый буфет извне,
Так же, как изнутри,
Напоминает мне
Нотр-Дам де Пари».
Золото льет Тициан,
Светится Рафаэль.
Истина и обман —
Вечная канитель.
Ибо я бил челом
Новым собратьям их.
Тем, кто лежат дубьем
Ныне от сих до сих.
Всем, кто нам дело шьет
И подбирает крап,



Бархат и шевиот
Загодя спрятав в шкаф.
Ходит в чужом тряпье,
В смокинге с бахромой,
И говорит крупье:
«Выигрыш шли домой».
«Черный квадрат» извне,
Так же, как изнутри,
Напоминает мне
Шулера попури.
Это паршивый ход,
Это фальшивый чек,
Это приход-расход,
Монстр, а не человек.
Бегают дураки,
Светят прожектора,
И у Гудзон-реки
Главная их дыра.
Имя ей Гугенхейм,
Кличка ей Казимир...
Выиграй этот гейм
У мировых громил.
Останови таран,
Твердо взгляни в глаза.

О, мировой обман,
Бью твоего туза.
Я уйду навсегда
К Рембрандту в темноту...
Падающая звезда
На деревянном мосту.
Слушай и говори,
Смейся и наливай.
Старый буфет изнутри —
Тот же Бахчисарай.
О, как ты постарел,
О, как я отупел.
Выпьем, родной, за то,
Что каждый пребудет цел.
Дай я тебя обниму
И поцелую в плечо.
Дальше мне одному
Долго идти еще.
Пялится в книгу лев,
Мост переходит кот.
В этот канал — твой гнев.
В римский бардак — мой счет.
Над Палатином ночь —
Пурпур и кардинал.



Евгений Рейн

Прочь отойдите, прочь,
Этот коньяк в канал.
Этот дукат в фонтан,
Этот песок в висок.
Нынче за океан,
Нынче на волосок
Мы от того, кто нам
Натасовал орбит,
Может, необъясним,
Может, просто закрыт.

1994

ГОЛОСА

Мой лучший адресат

Однажды летней ночью в Ленинграде
я ночевал в Михайловском театре...
Сейчас, как это было, объясню:
в ту пору у меня кипела дружба
с одной девицей со второго курса
графического факультета ЛХА.
Другой ее дружок был декоратор
того, что называют Малым театром,
вернее — главный декоратор был.
На чердаке огромном двухэтажном
отлично помещались мастерские —
впервые я все это увидал.
Был день рождения — кого? — не помню,
и праздновался он довольно крепко,
бутылки две на гостя было там.
И как-то вдруг не по себе мне стало,
я не хотел их отвлекать от пьянки
и просто перешел в соседний зал.
И там прилег на грудку декораций,

по-моему, «Ундины», и заснул.
Когда проснулся, все уже ушли.
Я дверь потрогал — заперто, и прочно.
Что делать? Было страшно в этом зале,
какие-то балетные фигуры, казалось мне,
бродили в полумраке. Уйти!
Уйти немедленно отсюда!
И это оказалось очень просто —
я вылез из раскрытого окна
на крышу театральную и, прежде,
чем вниз спуститься лестницей пожарной,
увидел сверху спящий Ленинград.
Отель «Европа» и канал, и Невский,
дом Виельгорского — все было на ладони,
и желтый дом — великий наш музей,
и музыкальное строение,
посередине — статуэтка. Пушкин
как будто бы приятно сделал ручкой
народу и чего-то говорил.
Но было очень тихо, очень тихо...
Я с высоты увидел и громаду
того, что изваял артист Паоло,
кусок огромного литого битюга
и шапку императора кастрюлей —

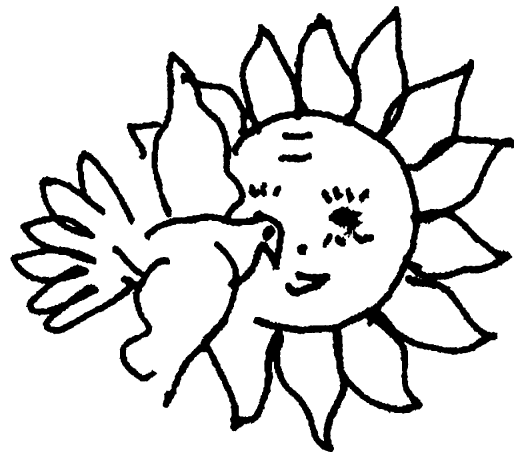
он за музеем во дворе стоял.
А в общем, некуда спешить мне было —
куда ты денешься в такую рань?
И я присел на самом крае крыши
и закурил. И тут подумал я,
что эта площадь — главная в России,
тут Пушкин, император и отель,
где жили все, где был чердак отписан
под ресторан и назывался «крышей»
и был доступен небольшой ценой.
В те времена, когда я инженером
служил на Охте на плохом заводе
и пробовал прожить своим пером,
мы часто эту крышу посещали,
сдавали складчину официанту —
уж он-то знал, какую надо водку
на эти деньги и закуски чуть,
и сам все делал. Мы и не вникали.
Я помню все: Каплан и Беломлинский
с женою Викой, Пизья-музыкант,
фарцовщики Арнольд и Бакаютов,
фотограф Поляков и юный Бродский,
Банчковская-красавица и Ася —
звезда, потом Довлатова жена.

И кто-нибудь еще — не в этом дело,
а дело в том, что точно подо мною
в подвале императорского театра
располагалась «Бродячая собака»,
закрытая в пятнадцатом году.
А там бывали те, кто там бывали.
Так я сидел, глазел, и понемногу
послышались какие-то гудки,
прошел автобус первый к островам,
и почему-то вдруг заржала лошадь,
быть может, в цирке — он недалеко.
Потом опять все стихло, постепенно
возобновился звук, и с этим звуком
я различил неясный разговор,
как будто бы он шел со всех сторон,
Кто это говорил? Я поначалу
совсем не понял, и виолончель
звучала из Дворянского собрания:
«Я вам оставил дивную страну,
безмерную — от Выборга до Кушки,
от устья Енисея до Тифлиса.
Что сделали вы с этою страной?» —
«Ах, государь, прошел великий Рим,
и миновал Египет фараонов,



Аттила, и Чингиз, и Тамерлан.
Остановилось время. Мы проходим.
Вот так твоя империя прошла,
твой сын над этим очень постарался,
потом два демона со Спасской башни,
потом два олуха и мелкота.
Об этом ли сегодня надо думать?
Пусть выживут. А веселы уж будут.
Оптимистичный у тебя народ,
и пересилит все его характер,
пусть только он идет своим путем,
его сбивать не надо, он доверчив
и презирает власть,
готов вручить ее кому угодно —
нате, жрите, а нам оставьте водку и труды.
Народ хороший, верь мне, государь...»
Кто это говорит, я удивился
до обморока, потому что Пушкин
как будто бы рукой мне помахал —
чего с похмелья, право, не увидишь.
Да, верно, показалось! Смолкло все,
пока искал я в пачке «Беломора»
последнюю, должно быть, папироску,
опять послышалось мне что-то из другого

конца пространства, как из подворотни:
«Два года я уланом воевал
и видел смерть, и конную атаку,
и принимал германскую шрапнель,
потом очнулся возле Монпарнаса,
где проживала Синяя Звезда.
И было так приятно ранним утром
позавтракать горячим круассаном,
зачем же я вернулся в Петроград?
Так много дела было у меня —
кружки и лекции, романы и интриги,
четырехстопный ямб мне надоел,
его хотел я заменить пэоном,
но не успел...» И снова тишина.
Из этой тишины другой сказал:
«Ах, будет то, что будет, надо жить,
брести Таврическим и Летним садом,
ходить в кинематограф, пить вино,
влюбляться, если есть в кого влюбляться,
писать стихи у жизни на полях,
бренчать под вечер на рояле старом,
любить друзей, а недругов прощать». —
«Ну, нет, — ему ответил чей-то голос, —
закисло вы на башенке своей.





Heaven —

How many

years —



Мы эту жизнь развалим на куски
и раскроем отсюда до Камчатки,
перевернем вверх дном и оглушим.
Я лично оглушу всемирным басом,
потом увижу дальние края —
Америку, Европу, океаны.
В большом нарядном зале под квадригой
и Аполлоном я прочту поэму,
и будем мне внимать народный вождь.
Ну, а потом...» — и как-то он запнулся.
«Ну, что вы, молодой вы человек, —
ему ответил тенорок упрямый, —
ну, что вы, не грозите кулаком,
стихи пишите, есть у вас талант,
а это ведь единственная новость,
как мне сказал соперник из Москвы.
Не зарывайте в землю ваш талант.
О, сколько же на свете есть всего —
скворцов немецких мудрых перекличка,
французских петухов «ку-ка-ре-ку»
и итальянские заливистые трели,
и Альбиона клетот соколиный —
заслушаешься... Но умейте слушать,
не заглашайте пенья этих птиц.

Я все отдам за эти переборы,
и все возьмут, должно быть у меня...
Табак народный «Беломорканал»
дурной струей ворвался мне в нутро...» —
закашлялся он вдруг и задохнулся,
и оборвался голос и затих.
«Пора, пожалуй, вниз, — подумал я, —
уже не рано, мне откроют двери».
И только я на лестницу ступил
пожарную, сходявшую во дворик,
как снова наваждение пришло:
«Должно быть, всякий прав из вас, друзья,
так Бог задумал — всякому свое,
а мне бессонницы и ожиданье.
Как долго мне придется в жизни ждать
богатства, сына, сицилийских лавров,
вот только слава сразу поспешит.
Но что такое слава? Он сказал,
что слава — это яркая заплата,
а рубище, оно всегда при мне.
Ускорим шаг, нас ждут в подвале нашем...»
По ржавым перекладинам непрочным
я вниз полез. И вдруг: «Остановись, —
мне новый голос приказал,



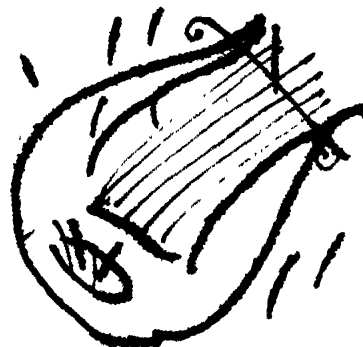
он шел уже как будто с высоты, —
остановись». Я в небо поглядел,
в родное утреннее небо Ленинграда.
«Я бросил это небо. Как? Зачем?
Другое небо было больше, выше,
расцветено сверкающим неоном
и вспышками «люфтганзы» и «панам»,
и я теперь живу на этом небе.
А было мне неплохо на земле
какой угодно, пермской и эстонской,
американской, да и на родной.
Я много походил на ней тяжелым,
аршинным шагом, бормоча свое,
но я хотел бы все-таки вернуться,
ну, хоть сейчас... Компания большая,
достойная меня бы приняла,
и, наконец бы, мы поговорили.
Здесь многое хотелось мне узнать,
а тут чужие люди в этом небе,
у них свои заботы — как у всех».
Был этот голос мне знаком отлично,
я слушал бы его еще, еще,
но тут вступил еще один приятель,
он мне когда-то продавал носки

нейлоновые, звался он Альбертом
и жаловался, вроде, на судьбу:
«Ну, что хотел я? Одевать людей
в «шузню» и джинсы, в «штатские» рубашки,
из них предпочитая «батн-даун»,
в британские породистые кепки
и в итальянский трудоемкий шелк,
в бостон двубортный, в шелест кашемира,
в норвежские с оленем свитера.
Они меня за это расстреляли.
Я голым лег в могилу, и она
была запахана. Несправедливо.
Ну, как теперь я на суде — не вашем —
а другом, Судье предстану?
Где я возьму меня достойный «сыют»
и прочее? Вот в чем вопрос, и Гамлет
со мною не поделится плащом.
Он скряга, этот Гамлет, хоть учен».
«Ну, это полный бред», — подумал я.
И тут как раз последняя ступенька,
и прыгнул я на дворовой асфальт.
Когда я вышел на канал, уже
был бедный день, бежали дети в школу,
какой-то «форин» расспросил меня,

Евгений Рейн

где здесь отель, я объяснил ему,
но сам не понял ни того, что было,
ни настоящего, ни будущих времен.

1994



Хирургический и консервативный ле-
чения М. К. получили еще след-
ное существование до 55 лет.

Из письма Евгению Рейну от 16.VI.1961. Якутск



Небольшая толкучка на Бликер-стрит в Гринич-Виллидж —
потихоньку здороваются, протягивается сигарета.

Боже мой, чего тут по случаю не увидишь —
лимузин премьера, супер-стар балета!

Даже он, потрепанный властелин стадиона,
здесь стоит, набравшись ума и силы,
и в его глазах несчастного мастодонта —
ныне что-то подлинное, словно плитняк могилы.

Возвращаются, закусывая в промежутке,
и какой-то довод, незнамо зачем, приводят.
Но вот тот, кого жду я уже третьи сутки,
не приходит, о, Боже мой, не приходит!



Сидя в Нью-Джерси, в Айронии — тихой, пустой деревеньке,
глядя, как гуси над нею летят из Канады,
я опускаю в копилку, как медные деньги,
темные дни и, пожалуй, иного не надо.

Может быть, здесь, наконец-то, окончен экватор;
духа набраться — а стоит ли вновь в кругосветку?
Сила земная уже не скрывает характер:
хватит, не надо, меня не бери на разведку.

Пусто в саду, ни огня и ни шороха в доме,
кто-то выходит из леса и молча стоит за спиною.
Но никого я не жду, никого не приветствую, кроме...
кроме тебя, а тебя разлучили со мною.

Пусто в Айронии, пусто на том и на этом
свете, и некому крикнуть: «Послушай!»
Нечего делать, и как не поверить наветам
прожитой жизни, меня в это место пославшей.

Евгений Рейн

Может быть, все-таки ты в тишине совершенной
дашь мне совет, если ты меня видишь оттуда.
Я не надеюсь, ведь ты не меняешь решений.
Все мои шансы одна лишь забава, причуда.

1996

«АРАРАТ»

Мой лучший адресат

Год шестьдесят второй. Москва и Святки.
Мы вместе в ресторане «Арарат»,
что на Неглинной был в те времена.
Его уже преследовали. Он
в Москву приехал, чтобы уберечься.
Но уберечься — выше наших сил.
Какое-то армянское сациви,
чанахи суп, сулугуни сыр, лаваш...
На нем табачная простая «тройка» —
пиджак, жилет да итальянский галстук,
что подарил я из последних сил.
А публика вокруг — что говорить?
Московские армяне — все в дакроне,
в австрийской обуви, а на груди — нейлон.
Он говорил: «В шашлычной будет лучше».
Но я повел в знакомый «Арарат».
Он рыжеват еще, и на лице
нет той печати, что потом возникла, —
печати гениальности.

Еще оно сквозит еврейской простотою
и скромностью такого неопита,
что в этом «Арарате» не бывал.
Его преследует подонок Лернер —
мой профсоюзный босс по Техноложке,
своей идеологией, своей коррупцией.
И впереди процесс,
с которого и начался подъем.
Ну, а пока армянское сациви,
сулугуни сыр, чанахи — жирный суп.
Он говорит, что главное — масштаб,
размер замышленный произведенья.
Потом Ахматова все это подтвердит.
Вдвоем за столиком, а третье место пусто.
И вот подходит к нам официант,
подводит человека в грубой робе:
«Подвиньтесь». — Подвигаемся, а третий
садится скромно в самый уголок.
И долго-долго пялится в меню.
На нем костюм из самой бедной шерсти,
крестьянский свитер, грубые ботинки,
и видно, что ему не по себе.
«Да он впервые в этом заведении», —
решает Бродский, я согласен с ним.



На нас он смотрит как на миллионеров,
и просит сыр сулугуни и харчо.
И вдруг решительно глядит на нас.
«Откуда вы?» — «Да мы из Ленинграда». —
«А я из Дилижана, вот дела!».
И Бродский вдруг добреет.

Долгий взгляд
его протяжных глаз вдвойне добреет:
«Ну, как там Дилижан? Что Дилижан?» —
А в Дилижане вот совсем неплохо.
Москва — вот ужас. Потерялся я.
Не ем вторые сутки. Еле-еле
нашел тут ресторанчик «Арарат». —
«Пока не принесли вам — вот сациви,
сулугуни вот — ты угощайся, друг.
Как звать тебя?» — «Ашот». — «А нас —
Евгений, Иосиф,
мы тут тоже не при чем».
Вокруг кипит армянское веселье,
туда-сюда шампанское летает,
икру разносят в мисочках цветных.
И Бродскому не по душе все это:
«Я говорил — в шашлычную» — «Ну, что же,
в другой-то раз в шашлычную пойдем».

И вдруг Ашот резиновую сумку
каким-то беглым жестом открывает
и достает бутылку коньяку.

«Из Дилижана. Вы не осудите!»

Не осуждаем мы, и вот как раз
янтарный зной бежит по нашим жилам,
и спутник мой преобразен уже.

И на лице чудесно проступает
все то, что в нем таится:
гениальность, и будущее.

Череп обтянулся,

и заострились скулы, рот запал,
и полысела навзничь голова.

Кругом Содом армянский. Кто-то слева
нам присылает вермута бутылку,
мы отсылаем «Айгешат» — свою.

Но Бродскому не нравится все это,
ему лишь третий лишний по душе.

А время у двенадцати, и нам
пора теперь подумать о ночлеге.

«У Ардовых, быть может?» —

«Может быть».

Коньяк закончен. И Ашот считает
свои рубли, официант подходит,





ЕВГЕНИЙ РЕЙН

берет брезгливо, да и мы свой счет
оплачиваем и встаем со стульев.
И тут Ашот протягивает руку
не мне, а Бродскому.
И Бродский долго-долго
ее сжимает, и Ашот уходит.
Тогда и мы выходим в гардероб.
Метель в Москве, и огоньки на елках
— все впереди. Год шестьдесят второй.
И вот, пока мы едем на метро,
вдруг Бродский произнес:
«Се человек!»

1996



В северной деревне за седьмым перекатом
я обходил свекловичное поле
с изгнанником под пунцовым закатом
в необременительной, неопределенной неволе.

На нем был ватник, кирза, ушанка,
на мне – городское бесцветное отрепье,
и осень, застенчивая приманка,
уже развесила великолепье.

Глядя на крайнюю избу с огнями,
мы торопились к очагу и хлебу,
и что-то тихое между нами
по нитке дождя поднималось к небу.

И было поздно, но долго-долго
мы не могли добрести до приюта.
И кто-то сказал: «Это странно. Только
одна здесь минута, ходьбы минута».

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

А мы никак не могли добраться,
нас черти водили с нечистыми всеми.

.....

Но ты сумел благодати дожждаться
и первым вошел в темные сени.

1996





В Летнем саду над Карпиевым прудом в холодном мае
мы покуривали «Кэмел» с оборванным фильтром,
ничего не ведая, не понимая
из наплывающего в грядущем эфирном.
Я принес старый «Лайф» без последней страницы
с фотографиями Венеции под рождественским снегом,
и неведомая, что корень из минус единицы,
воплощалась Венеция зрительным эхом.
Глядя на Сан-Марко и Санта-Мария делла Салюте,
на крылатого льва, на аркаду «Флориана»
через изморозь, сырость и позолоту
в матовой сетке журнального дурмана,
я сказал: «Никогда». Ты сказал: «Отчего же?»
И, возможно, Фортуна отметила знак вопроса.
Ибо «никогда» никуда не гоже —
не дави на тормоз, крути колеса.
Поворачивался век, точно линкор в океане,
но сигнальщик на мостике еще не взмахнул флажками,
над двумя городами в лагуне, в стакане

Евгений Рейн

поднимался уровень медленными глотками.
И пока покачивался дымок «Верблюда»,
и желтел ампир, багровел Инженерный,
по грошам накапливалась валюта,
и засчитывался срок ежедневный.
И журнал перелистанный отложив на скамейке,
отворяя калитку, судьбу и границу,
мы забыли, что нету рубля без копейки,
что мы видели все — без последней страницы.

1996



24 МАЯ

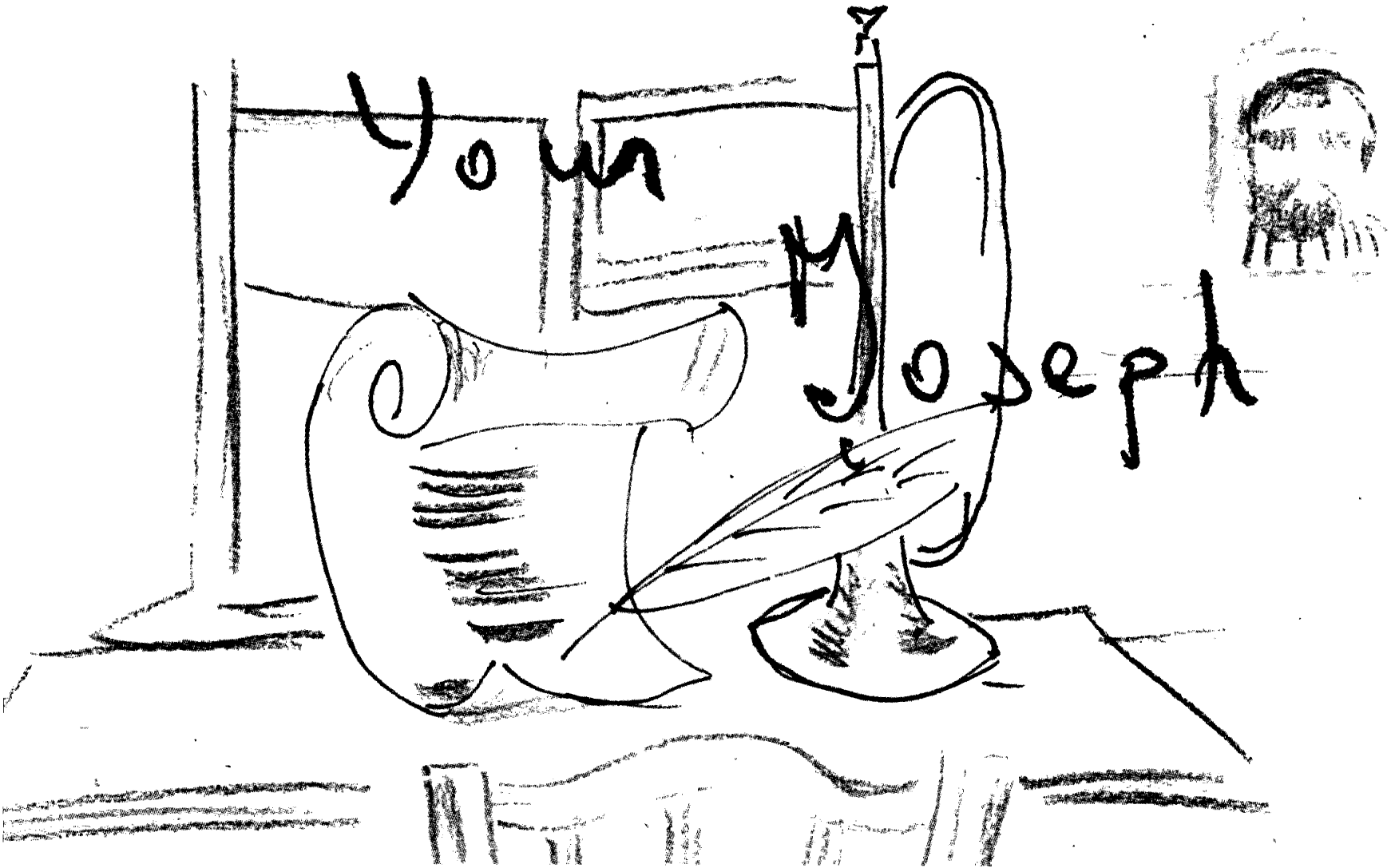
Мой лучший адресат

В этот день в твоих комнатах пахло корюшкой и сиренью,
ты опаздывал больше, чем гость с переполненной сумкой.
Как могло, так прощалось — от стихотворения к тихотворенью —
майской ночью, помешанной только, но не вовсе безумной.

Засыхали букеты, стирались круги с полировки,
возвращалась посуда, обращаясь в крепленые вина,
и последняя корка, отражаясь в пустой поллитровке,
размокала в последнем — под утро — глотке кофеина.

И теперь в этот день в суете законной столицы,
от подземного дна выводя перископ наружу,
я такие, бывает, в окулярах встречаю лица,
и тебя, надеюсь, когда-нибудь я увижу.

1996



Your

Joseph



Скала мореного дуба, притворившаяся буфетом,
стол на двадцать персон под крепдешинovým абажуром
вплывают в мой сон и память под водкой и марафетом,
и я поднимаю руки, как в лагере перед дежурным.
Старик в парчовой ермолке, женщина с поварешкой,
стена с золотым обрезом Брокгауза и Ефрона,
корюшка и селедка с разваренною картошкой —
все осталось на месте, словно во время оно.
Двадцать четвертое мая, а крайнее место пусто,
и пустота наступает от занавесей до дивана,
и ничего не скажешь по воле Сорокоуста,
и тает последней каплей эта последняя рана.

1996

21 ДЕКАБРЯ

Двадцать первое число —
Самый темный день в году.
Так и надо, всем назло
До конца тебя пройду.
Видели мы мрак и течь —
Как ты медленно темнел!
Надо было встать и лечь
В самый темный передел.
Замутняется Кронштадт,
Проступает Лисий Нос,
За меня мое решат,
Только ты меня занес
В те карельские леса
На береговой припай,
Где замерзли голоса
В Новый год и в Первомай.
И когда последний луч
Потускнеет на весу,
Я железный верный ключ

В скважину твою внесу,
И откроется мне дом,
Полный мертвых, молодых.
Самый темный день, вдвоем
Выпьем, молча, на двоих.

1996



А. Кушнеру

Все подсчитано — сколько чашечек кофе,
и шотландский клетчатый галстук в подарок;
бухгалтерия пишется по катастрофе,
пирамида возводится без помарок.
А ведь было — у зёва Сарданапала
все лежали в непредсказуемом страхе,
и метал он жребий, и масть упала
на ладонь безумца, в карман неряхе.
И теперь ничего нельзя поделать,
лишь листать ночами конторские книги,
да следить, как истово чистит челядь
аккуратно развешенные вериги.

1997

КОНТОРА

Мой лучший адресат

Сто лет тому назад в гостинице районной,
с палаткою пивной в одно объединенной,
мы жили вместе с ним. И рано по утрам
будил нас городской районный тарарам.
Автобус привозил экскурсию из Пскова,
в соседнем номере два дюжих рыболова
горланили «Варяг», а местный пионер
играл побудку нам на собственный манер.
Тогда мы шли к реке и дальше долгим полем
в контору, там, где мак сплелся с желтофиолем,
и ждали час еще, мусоля «Беломор»,
мы слышали, как Он заходит в коридор.
Тогда и нам пора на разные объекты,
Он знак мне подавал как член масонской секты.
Спускался парк к реке, гудел июль в наливе,
в соседних деревнях в ухабах и крапиве
гуляла пустота, и только у ларьков
стояла очередь из местных мужиков
и то в шестом часу.. И мы сходились снова,

и получали мы бутылку в полседьмого.
И возвращались в парк, и шли на дальний берег,
и заедали хмель десятком карамелек,
и кто-то проплывал на лодке по реке,
и кто-то приносил картошку в рюкзаке,
и летний пар летел под куполом туманным,
и в полночь этот мир казался постоянным.
И он мне говорил: «Что было — не беда».
И ворон отвечал из мрака: «Никогда».
...Потом я с ним сидел на пластиковом стуле
среди чужой толпы и пил «Напареули»,
которое привез ему издалека.
Теперь уж за окном огромная река
впадала в океан, и статуя Свободы
качала факелом, подсчитывая годы.
Он поднимал стакан. Он надевал пальто.
«Вернись», — я говорил. — «Ну, что ты. Ни за что». —
«Контору помнишь ты? И коридор в конторе?
Он ждет нас по утрам, и в нашем приговоре
записано, что срок он сам определит». —
«Послушай, я презрел уездный реквизит.
Что было, то прошло. Мне хватит и портрета.
На все твое нытье я налагаю вето».
...И вот в последний раз мы вышли на канал,

и я опять спросил, он снова промолчал.
Как Сороть, как Гудзон, волна у ног плескала,
расплавил вода два топовых овала,
и катерок уплыл... И колокольный бом
сказал мне: «Никогда, вдвоем ли, вчетвером,
вам больше не сойтись». И ночь пошла на убыль.
Венеция цвела сиреневым, что Врубель.

1997



ЗЕРО

После поминок мы в подвал спустились,
и человек в розовом костюме
давал нам пояснения —
магистерий и красный лев —
все это было здесь.

«Смотрите», — он сказал,
и вынул гвоздь,
и положил его в реторту.

Закипела какая-то бурда.

Я все глядел, припоминая, —
мелкие черты, набухшие подглазья —
что-то, где-то уже я видел.

Тут вошла полячка,
держа в руках фальшивый документ.

И гвоздь достали из реторты.

Он по шляпку стал золотым.

И я захохотал.

Ну да, конечно, тридцать лет назад
я видел этот фокус.

Только прежде
показывал он это на себе,
рассказывал, что в Датском королевстве
был удостоен звания магистра,
заглядывал в глаза, и люди, люди
кормили его, честно удивляясь
двум-трем словам по-датски и по-польски.
Над головой шумел ночной Нью-Йорк.
А здесь, в подвале было глухо, тихо.
Столетний человек, лауреат,
с вдовой беседовал и подливал ей водки.
Все утомились, даже с облегченьем,
отяжелев, жевали бутерброды,
лишь он один сновал неутомимо
и важным господам в полупоклоне
свой гвоздь показывал.
Я обратил вниманье
на женщину с фальшивым документом:
«Дзенкую, пани!» Но она уже
все спрятала и, прислонясь к стене,
кольцом стучала что-то вроде Морзе,
какой-то знак.

По этому сигналу
в подвал спустился обладатель кубка

Индианаполиса — сухой и ладный малый,
весь в черном, и за ним
внесли два ящика «Клико».
Приободрились и гости, и вдова.
И пир воспрял.
Полячка подняла бокал и снова
кольцом позвякала по хрусталу.
И человечек в розовом костюме
дотронулся до локтя чемпиона.
Тот обернулся полупрезрительно,
но что-то вдруг припомнил,
как будто расшифровывая Морзе,
и руку протянул, и в эту руку
был вложен гвоздь.
Все вскоре разошлись...
...На набережной под зеленым небом
в стране Гольфстрима
я вошел в какой-то
угрюмый дом
и произнес пароль.
Слуга провел меня по коридору
в бесцветный зал.
Там за столом сидели
пять человек.

Квитанции, кредитки,
какие-то жетоны вперемежку
лежали на расчерченном сукне —
подпольная рулетка. Так и было.
Я знал всех пятерых, но только
не мог припомнить,
что же с ними стало.
Крупье сказал мне: «Вот и ты. Пора!»
И бросил шарик на воронку.
Голый череп его отсвечивал
от трехлинейной лампы,
гвардейский галстук был повязан туго.
И все проигрывали.

Впрочем,
тут шла игра по мелкой.
Крупье был холоден, как будто бы его
все это не касалось.

Я поставил
на «черное» и выиграл часы,
отстегнутые с грязного запястья.
Никто не удивился.
Полумрак рассеивался,
явственно утрело.

На углу стола

сидел тот самый в розовом костюме,
свободно развалившись, так бывает
с официантом, что решил гульнуть.
Он выжидал и умными глазами
следил за шариком.

Мне показалось — игра не клеится,
все отбирал крупье.

«Сегодня не идет», — сказал губастый
с пробором равнодушный человек.

Я не видал его с тех самых пор,
как проводил на пристань в кругосветку.

«Сейчас покончим, — возразил крупье, —
ты не играл еще, чего ты ждешь?» —
сказал он розовому человечку.

«Я не спешу, — ответил тот, — приятно
со всеми вами вместе посидеть.

А впрочем, вот ставка».

Он за пазуху полез и вытащил.

И я узнал, узнал —
та самая фальшивка от полячки.

Крупье внимательно ее перечитал
и холодно сказал: «Вполне годится.

Так, что же?» —

«Я ставлю на зеро».

Другие ставки — кто во что горазд.
И завертелся шарик. Все привстали.
И долго-долго суетился он,
отыскивая сектор. И как будто
крупье его подстегивал:
«Давай-давай, ищи, что надо!»
И остановился.

Зеро, конечно.

Розовый вскочил.
И подлинная вспышка на минуту
преобразила благородный шик
его хваток фокусника.
«Что же, ты — человек ноля.
Теперь хватай!» —
и все придвинул розовому — куча
рублей советских, замогильных бирок,
просроченных билетов проездных,
какое-то письмо без уголка.
«Бери, бери, — сказал крупье. —
Счастливчик! Надолго хватит». —
«Что вы, господин, а золото?» —
«А золото сам сделай.
Ты, кажется, когда-то промышлял
алхимией. А тут другие игры». —

«Отдай тогда хотя бы документ!» —
«Ну, знаешь, не смей — придет пора,
он будет продан на аукционе».
И розовый заплакал.

Боже мой!

Невыносима участь человека,
решившего обманом захватить
хотя бы тень, хоть промельк Абсолюта!

.....

На набережной был густой туман,
и мы стояли, словно бы боялись
расстаться в этом млечном киселе —
потом уж не отыщут, не спасут.
И только тот, кто выиграл зеро,
так безнадежно помахал рукою.
Шаг в сторону —
и он исчез в тумане.

1997

РЕСТОРАН «РУССКИЙ САМОВАР» В НЬЮ-ИОРКЕ

Роману Каплану, с любовью

Краснокожий, как будто индеец, и узкий — китаеобразно,
в тесноте — не в обиде витаешь ты духом соблазна,
в мировой суете, среди мышинной погони вселенской,
благодатный тупик за двустворчатой дверью железной.

Тут уже не спешат, не торопят ни счета, ни спора,
здесь последний приют, зазеркалье, но здесь и опора
между рюмкой и вилкой, холодцом и селедкой по-русски,
если кончена жизнь, то начнем ее снова с закуски.

Неужели, как прежде, я на этом усядусь диване
и зайду, никому не сказавши и слова заране,
потому что мое здесь от века законное место,
потому что здесь память диктует, а не воеет блатная фиеста.

Здесь и затормошат и, быть может, оставят в покое,
поцелуют и плюнут и, наверно, напомнят такое,

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

от чего попросить надо стопку и стукнуть о стопку,
и последнюю щепку ничуть не жалеть на растопку.

Потому что ночами пируют здесь милые тени,
только дверь запирают, как вступают они во владенье
это бывшей земли безутешной, безрадостной пьянки,
где бренчит пианист до рассвета «Прощанье славянки».

1997



« Ф Л О Р И А Н »

Мой лучший адресат

Между Марко Поло и Дондоло
тот же столик.
Снобы, торжествуя и долдоня,
то же стоят.
Вот и я в Венецию приехал,
а тебя здесь нету.
Я зову — и только эхо, эхо —
«нету, нету...»
Вот лишь в мутных зеркалах старинных
ты проходишь...
Так пойдем к Риальто и на рынок
и всего лишь
встретимся в ночи у «Флориана»,
поддадим серьезно.
Может, это будет слишком рано
или поздно.

1997

ЧЕТЫРЕ ГЛАВЫ С ЭПИЛОГОМ

Н.

Я в полвосьмого выходил из дома
и шел Фонтанкой к школе двести шесть
в гиперборейском месиве туманном.

И видел я блокадные зиянья
на берегах Фонтанки, и на мне
был драповый пудовый полушубок,
калоши «Треугольника» и шапка
солдатского сукна с эмалевой звездой...

Я так боялся опоздать к уроку,
спешил и задыхался.

Затягивал я воздух в бронхи и никак
не мог его добыть.

И был портфель мне не под силу.

И на мосту, прикованном цепями,
я проклинал рождение свое
и кислород, отпущенный так скудно
мне одному, а между тем

вокруг была такая бездна кислорода.
Любой котенок, птица, мотылек
могли дышать, а я не мог. За что?
Не знаю, как я успевал к звонку,
но как-то раз я все же опоздал,
и дверь была закрыта на засов —
так чудил директор наш
со странной кличкой «Боцман».
И это значило, что завтра должен я
грузить кирпич, искать металлолом
и чистить школьный двор от снежной грязи.
И я смирился. Значит это мне
назначено. И не было обиды
на Боцмана и на пудовый драп,
на дальнюю дорогу от самого Обухова моста.
Мне было десять лет, и я смирился.
Но где мне скоротать
вот этот школьный день.
Домой вернуться было невозможно,
и я пошел, куда глаза глядят,
и вышел я на Лиговку,
и вдоль путей трамвайных,
складов, скверов, фабрик,
я двинулся к Обводному каналу.

Стоял декабрь, и рассветало в десять.
И долго было мне еще бродить.
И я бродил, и я проголодался.
Я вышел на проспект Международный,
и астма вдруг покинула меня,
и я вздохнул свободно и заплакал.
Так значит, я прощен, и я могу дышать
со всеми наравне.
И пить мне захотелось и поесть.
И я нашел пивной ларек.
И там мне за одиннадцать копеек
налили «маленькую». Сорок пятый год.
Никто не смел мне в этом отказать.
Я расстегнул портфель,
достал свой завтрак:
два бутерброда с чайной колбасой,
и стал глотать...
И тут перед собою увидел человека я —
со мною вровень инвалид безногий
на доске и шарикоподшипниках,
в руках держал он банку, и ему
туда сливали пиво доброхоты.
Он был уже изрядно пьян и, глядя на меня,
он коротко сказал мне: «Поделись».

Я поделился ровно пополам
и дальше двинулся, но он сказал: «Постой.
Ты думаешь, я хуже остальных,
ты думаешь, я пьян? Пускай я пьян.
Я так живу. Ты тоже так живешь.
Сынок, — он мне сказал, — ты не ропщи.
Живи и все. Ведь наше дело жить.
Не жить нельзя». И он запел «Варяга»

.....
Прошло семь лет. На даче в Териоках,
на голубой облупленной веранде
мы собирались — десять человек.
Был поздний август, был конец сезона.
Я только что зачислен в Техноложку
и я влюблен, без памяти влюблен.
И потому почти что каждый вечер
я провожу на этой вот веранде
под патефон и старые пластинки,
под танго и фокстроты, и чарльстон.
Я не сказал еще ей ни полслова,
я просто прихожу сюда и рад
глядеть на сосны, слушать патефон,
пить чай с вареньем, плохо танцевать,
тем более, она — из балерин

училища Вагановой.

И мне до краски стыдно
за все свои промашки, неуклюжесть, но
не пригласить ее я не могу.

Чужая воля диктует мне, я повинуюсь ей.

И так прошло три месяца, и это —
последний вечер. И «Цветущий май»
она заводит, идет ко мне навстречу.

Я должен ей сказать. А что сказать?

Мне нечего сказать,
поскольку ей никак не до меня.

Тогда зачем шумит прибой за дамбой,
прожектора пересекают небо,
осенний ветер сосны шевелит?

Зачем она под пестрым сарафаном
лопатки сводит, и зачем она
глядит в глаза мне?

Все это напрасно.

Еще минута — кончится пластинка.

И я уйду. Я лучше промолчу.

И вдруг я слышу: «Разве в этом дело?»

Не говори ни слова. Я сама все знаю.

Ты и без меня прожить сумеешь.

Только вспоминай вот этот вечер



и мои слова. Сейчас еще не время.
Ты и я увидимся когда-нибудь, и будет
все так легко: ни боли, ни обиды.
И вот тогда я все тебе скажу
о нашей неудаче. Потому что,
я — неудачница, и мне не до тебя.
Никто не виноват. Не обижайся.
Ты — зритель зрелищ.
Я — танцорка танца.
Но занавес опустится, и мы
увидимся еще на этом свете.
Я обещаю это. А теперь
поставь-ка чайник на электроплитку.
Я принесу ватрушки и варенье,
и все утешатся, потом пойдем гулять». —
«Нет, что ты говоришь, не надо чая.
Еще так рано». — «Нет, как раз пора,
ведь все хотят ватрушки и варенья.
Я это знаю лучше, чем себя.
И ты доверься мне. Запомни только
наш уговор: когда-нибудь, когда...»
.....
...В ста двадцати верстах к юго-востоку
в лесной деревне дом его стоял —

модернизированный пятистенок.
Он жил там круглый год,
лишь по делам столицу навещая.
Вместе с ним — ньюфаундленд Фома и кошка Гейша.
Он вел свое нехитрое хозяйство,
поскольку все умел и всем владел:
пером, рубанком, тульской двустволкой,
смычком и кистью, гаечным ключом;
он добывал зимой и летом рыбу,
он воевал и десять лет сидел.
Когда-то он писал стихи, но бросил,
и зарабатывал толмаческим искусством,
взваливши титаническую глыбу
одной из богоборческих поэм.
И я под Рождество к нему приехал,
в его деревню, с водкой и ружьем.
Рождественские холода стояли,
сугробы намело до самых окон,
но печь топилась, и хозяин сам
сварил грибной тяжелый суп и кашу
со шкварками гусиными —
он толк в кулинарии понимал.
Крепчал мороз, но две бутылки водки
нам обещали праздничную ночь,



приемник «Сателлит» гремел в избе —
из Ватикана раздавалась месса.
Бог Сына посылал в земной простор.
Мы выпивали. Я сказал ему:
«Вам семьдесят. Вы все прошли на свете:
богатство, бедность, жен и сыновей,
вы видели, как крейсера Антанты
покинули Одессу, как Москва
глотала дым костров январской ночью
над гробом Ленина, как выбивали
прикладами иконы из окладов
в русских храмах,
как пировали нэпманы в «Арагви»,
как ели трупы Волга и Кубань.
Вы видели Магнитогорск, «Челюскин»,
Багрицкого, Ягоду, Мандельштама,
вы с Бабелем ходили на бега.
Прекрасный дар стиха и мощной кисти
вам был пожалован,
но нету ваших книг, нет выставок,
вы в ссоре с сыновьями,
лишь кошка да собака, да изба...
А мне как быть? Чего мне ждать? Что делать?
Бессмысленные обивать пороги,

халтурить, пить, переводить «Манас»?
Вы видели Степлаг, но разве вам
Флоренция не снилась и Равенна?
Зачем забрались вы в такую глушь,
в избу вот эту? Ведь коллеги ваши
объездили полмира — там конгресс,
симпозиум... И деньги есть у вас». —
«Что знаешь ты о жизни, недоумок,
я был таким, как ты,
мне вспомнить тошно
былое молодечество свое.
Я знаю об Уффици больше,
чем свора интуристов, я могу
все перечислить замки на Луаре,
я здесь, в своей избе, себе хозяин,
владыка континентов и времен.
Вот книги, снасти, пёс, моя работа,
кому я нужен, те ко мне приедут,
зайдет сосед Иван поговорить,
бывалый человек и старовер,
он знает то, что вам в Москве не снилось,
я презираю вашу суету,
все ваши иерархии, все сплетни,
я независим, и настанет срок —

ты вспомнишь это Рождество в сугробах».
Мы выпили еще, он закурил
и повернул настройку «Сателлита».
Гудел орган Вестминстера, взмывала
латынь под римским куполом, Москва
передавала метеопрогноз — неутешительный —
морозы и метели.
Но здесь в избе нас это не касалось:
дрова и книги, водка и собака.
Родился Бог. Недалеко погост.
.....
...У «Флориана» в самой дальней зале
ему прислуга оставляла столик,
и он сидел там долгими часами,
глядел на площадь, на аркаду Прокураций,
курил и слушал оперетту.
Здесь Оффенбаха, Кальмана, Легара
играли чаще прочих. Иногда к нему
подсаживались местные софисты,
и он им что-то толковал, поскольку
успел подумать он решительно про все,
что занимает людскую любознательность,
и знал ответы.

Я к нему приехал

и после утомительного дня
душ принимал
и брел на встречу.
В двенадцать закрывался «Флориан»,
мы шли гулять. Сначала по Пьяццетте,
потом по набережной и до Гарибальди.
Обычно подходили к Арсеналу,
и он всегда читал терцины Данте
про это место — знал их наизусть.
А дальше вдоль каналов в темноте,
по мостикам, каким-то переходам
мне неизвестным, выведившим на
обуженные площади, где церкви
барочные, романские, лепнина, купола
и статуи святых.
За час мы добирались до Риальто.
Он жил в палаццо, я — в отеле «Панда».
Что вспоминали мы за этот час?
Иные берега, иные годы,
просторный светлый север, мертвый Крым,
регату на заливе, Комарово,
дом у Пяти Углов, дом на Литейном,
смешные переулочки Москвы.
Все миновавшее —

трофейное кино, стихи имажинистов,
бредни, сплетни, каких-то девушек,
«Восточный» ресторан
и поплавок Елагинский у стрелки.
Мы вспоминали наших стариков,
нам приказавших долго жить на свете,
мы вспоминали русские стихи
от Сумарокова до Пастернака.
«Ты почему никак не едешь к нам?» —
его я спрашивал. — «Как-нибудь приеду, —
он отвечал, — пройдет вся суета,
я доберусь до Хельсинки, оттуда
на корабле меня доставят в Гавань,
и я пешком по Шкиперской пройду
до Среднего, а там по Невке мимо
Таможни и Ростральных, а потом
через Дворцовый вырuchu на Невский,
а там уже домой недалеко.
Когда-нибудь...» — «Но погоди, зачем
откладывает?» — «Неужто непонятно?
Торопятся на место преступления,
туда, где ты любил — не торопись.
Но я исполню все это. Ты помни».
В последний раз мы вышли на канал,

на Гран-канале, где он жил в палаццо
у друга своего, и он сказал: «Зайдем.
Зайдем и выпьем. Завтра улетаю».
И я прошел по лестнице известной
в просторный зал в портретах и коврах.
Мы вышли на балкон, и он принес
бутылку, два стакана... Поздний вапоретто
спешил к Сан-Марко, пестрые огни
в канале разбегались, где-то пели
под фортепьяно. «Ну, теперь пора, —
сказал он мне, — увидимся в Нью-Йорке».
И мы увиделись уже на Бликер-стрит,
где похоронный подиум стоял...
...Июньским утром резвый вапоретто
доставил нас на Сан-Микеле,
по выложенным гравием дорожкам
прошли мы в кипарисовой тени.
Могильщики на новенькой коляске
вкатили гроб, и двести человек
могилу окружили. Протестантка
прочла молитву. Землю я
привез из Ленинграда в малом узелке —
простите мне мою сентиментальность.
Вдова стояла с дочкой, взрослый сын

глядел куда-то вдаль, корреспонденты
стреляли камерами, Лосев и Каплан
томились в черных шерстяных костюмах
и галстуках. Барышников сказал,
что будет месса здесь же на Микеле.
Я задержался на минуту,
и вдруг увидел странную подробность,
быть может, мнимую — не тороплюсь судить:
у могилы лежала выщербленная плита
от старого надгробья, но сквозь патину
еще виднелись буквы на латыни,
и я их прочитал и ужаснулся.
Написано там было «Чемпион».

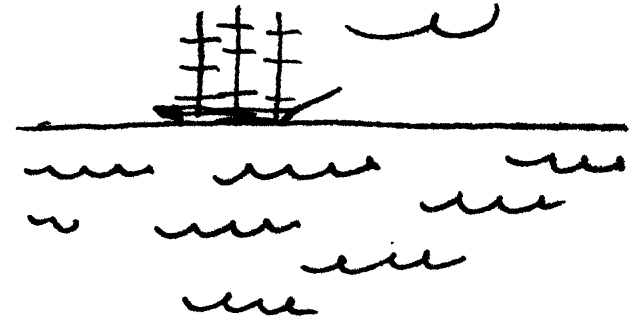
.....

...Замкнулась бухта мысом и вулканом,
потухшим, может быть, при неолите,
а впрочем, я не знаю точных дат.
Всем хорошо известно это место,
тем, кто бывал, и тем, кто пренебрег.
Случайно я забрел сюда студентом,
и жизнь прошла у этих самых скал.
Тут столько всякого со мной случилось,
в увядшем парке, в летнем ресторане,
на набережной, в комнатах убогих

советского Литфонда,
в садах окрестных дач и на балконах,
заваленных посудой и тряпьем.
Известно всем, чье имя здесь священо,
кто дом здесь выстроил, чьи кости на горе.
Я десять лет дружил с директором музея,
и все это прошло, прошло, прошло.
Но я любил японские гравюры
и габриаки, брик-о-брак парижский,
сюда свезенный, голову царицы
и посиделки в первом этаже,
где девочки музейные курили
и пили кофе. Но более всего
любил я башню, ибо далеко
оттуда было видно, а ночами
над ней стояли звезды черноморья,
бриз пролетал и слышался прибой.
Был черный год. Чернее не бывает.
Жизнь отступила, выбросив меня
на этот берег. Были тошнотворны
мне сплетни и проделки нашей касты,
остывшие борщи и макароны,
измазанные пляжные тела,
базарный виноград, плохой портвейн,

вечерние остроты на балконах.
Я даже и в столовой не бывал,
питался сыром и сухим вином,
и в номере читал Агату Кристи,
да иногда играл на бильярде вдвоем с женой.
Так проходили дни. И был уже
билет добыт обратный. Но
как бы тошно не было мне здесь,
я возвращаться не хотел в столицу,
в помойку и в халтуру, в ЦДЛ.
А что еще мне делать оставалось?
Зачем все это нужно? Пятьдесят
ты прожил лет, и все уже прошел.
Достаточно. Не уезжай отсюда,
и здесь не оставайся. Заберись
на эту башню и бросайся оземь.
Не так уж высоко, но метров хватит.
И я решился. Даже написал
письмо жене и матери записку
и спрятал в том «Английский детектив».
Число назначил, и оно настало.
Был час послеобеденный. Жара
сморила Коктебель. Исчезли люди
с набережной. Я взошел на башню

и оглядел в последний раз все это.
Ну, что же? Вот и все. Теперь давай.
Томилось море тошнотворным штилем,
и не было ни лодки, ни шаланды
до горизонта. Да, моря было жалко.
Я спустился в кабинет,
где мой приятель прятал раритеты,
взял цейсовский бинокль
и снова поднялся и глянул в окуляры.
И вдруг вдали увидел я пловца.
Так далеко, почти на горизонте.
И я узнал его. Вернее, догадался.
Моя жена — пловчиха из пловчих.
Бессильны были линзы, просто
знал я наизусть: курносое лицо,
надбровья выпуклые, светлую копну
и молодые замкнутые губы.
И этот брасс ее, широкий, вольный брасс.
Она плыла ко мне, и через час
взойдет она на берег. А меня не будет.
Что я скажу ей там, когда она
потребуется ответа у меня.
Что плохо мне, что скучно, что досадно,
что нету больше силы и надежды —



пустая речь. Ты не затем рожден,
чтоб веселиться, пить и кейфовать.
Неси свой крест, люби свою жену,
еще дыши воздушным перегаром
вина и солнца, ночи и судьбы.
Вернись в Москву и там, на Лобном месте
скажи Кремлю: «Я не боюсь тебя!
Ни пятипалых знаков, ни зубчатки,
татарских луковиц над головой
и коридоров с плотными дверями,
ни саркофага с мумией бесполой,
ни часовых у входа в подземелье,
ни черных телефонов под землей».
И ровно час прошел, пока жена плыла
и вышла на прибрежную щебенку,
а я спустился с башни, и она
сказала мне: «Пойдем-ка на базар».

1998



Было нас, помнится, пять человек,
Двое из морга выходят на снег,
Шапки в руках.

Это обрушилось, то не сбылось,
Но удалось, удалось, удалось
Нам на паях.

То удалось, что в несносном бреду
Мы удержали рычаг на ходу
Всей пятерней.

Вот и открылся нам каменный свод
И указал нам дорогу в обход —
Лаз потайной.

Это был замысел, прочее — плоть.

Вот и пришлось ее перемолоть
На жерновах

Жизни, обиды, удачи, труда,
Чтобы однажды вернуться сюда —
Шапки в руках.

ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ

Когда смеркается, деревья
подходят к моему окну,
я знаю все это издревле
и через полчаса усну.

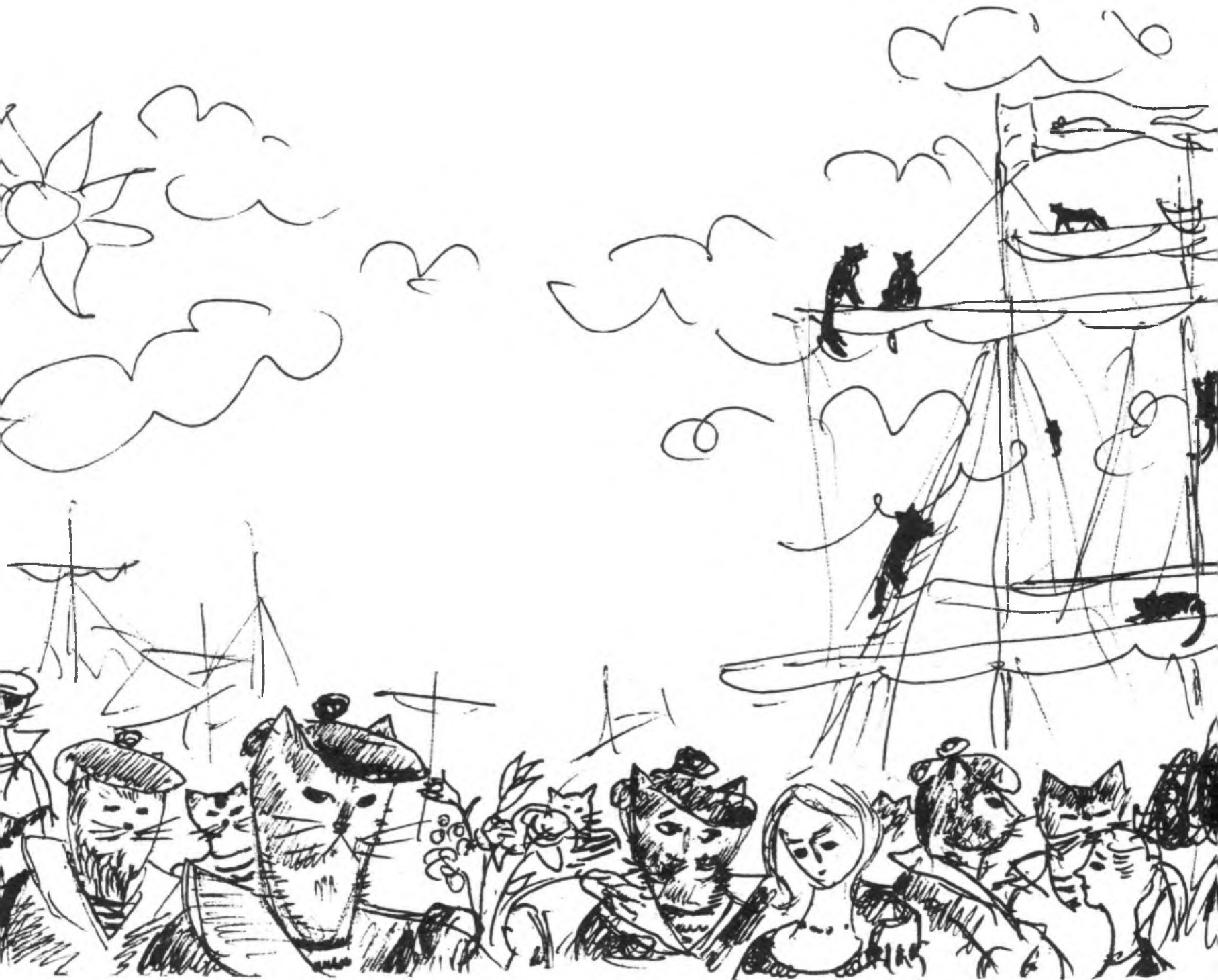
.....

Но пока еще здесь, за оконною рамой,
я хозяин своих привидений и призраков,
мне обещано было свидание с мамой,
и твои акварели на комнатных выставках,
мне обещано было это чтение картавое,
и трофейные танки у Парка культуры,
одноклассники после уроков оравую,
и последними в фортку влетают амуры.
Вот и все, в слепоту неизведанной пропасти,
в гамаке и качалке наступает паденье,
и вращает пропеллер небесные лопасти...
...где-то в детском саду заикается пенье...

СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК

Мой лучший адресат

Приходи к «Флориану», когда стемнеет,
Слышишь, ветер с лагуны вовсю сатанеет,
Но оркестр сквозь порывы играет Шопена,
Вот теперь и обсудим мы все откровенно.
Лев читает нам книгу с невысокой колонны,
Лодки бьются о пристань и считают поклоны,
И последний прохожий пропал за Сан-Марко,
Начинается ночи немая запарка.
Видишь, купол над нами все тяжеле и уже,
Флориановы тени во тьме разутюжа,
Ночь приходит из нашей с тобой половины.
На стене Арсенала Алигьери терцины.
Ты – из ближней могилы, я – из давней мороки,
Значит, ныне сбываются судьбы и сроки,
Значит, призраки есть, как сказал Свидригайлов,
Это факт, а не выдумка бешеных файлов.
Рюмка «граппы» и чашечка черного «мокко»
Объявляют, что ты появился с Востока
Вместе с бледным рассветом, ленинградским загулом,

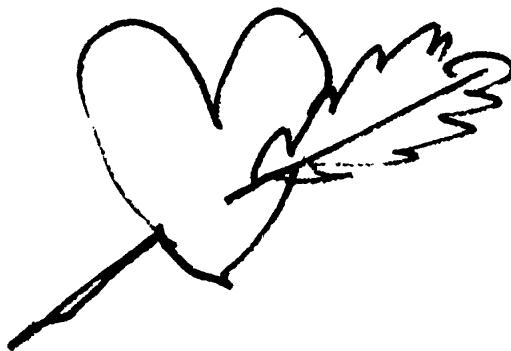


Вместе с давним дружкой косолапо-сутулым.
Так разделим священную дрожь алкоголя
И ожог кофеина – на все твоя воля,
Тут петух не споет, и сосед не заплачет,
Только школьник наш впрок твои рифмы заначит,
Перепутает строфы, перепробует строки,
На полях Елисейских всем нам хватит мороки:
Все поставить на место, погрозить неумехам,
Плагиаторам и соглядатаям-лохам,
Венецкое время кончается скоро,
Адриатика ночью – что затычка простора,
Этот город – тупик, ну и слава же Богу,
Что не надо опять собираться в дорогу.
От собора, Пьяццетты и до Арсенала
Ровно столько шагов, что ни много, ни мало,
Так пойдем, поглядим, если спросят – ответим,
Словно в том гастрономе – не будешь ли третьим?
Но, быть может, он нам и протянет монету,
Если что – мы заплатим, ведь бывает, что нету.
Но, похоже, он с нами вовек расплатился,
Так давно, далеко – даже голос расплылся,
Долетавший до нас. Помнишь озеро Щучье?
Там аукалось в соснах тройное созвучье,
Там с тобой мы брели по дороге на «будку».

Евгений Рейн

Вот и кончилось лето по тому первопутку.
Вот и вспыхнул огонь на корме электрички,
Словно в темном углу обгорелые спички.

2002





Жемчужно-серый и малиновый
в адриатическом стакане
заполнили его до линии,
перерисованной заранее.

Шатая трап на ближней пристани
от катерка на темный берег,
светя рублями серебристыми,
я здесь лишился лучших денег.

Тут все бесплатно, все оплачено,
вся жизнь, включая чаевые.
Но список, вычитанный начерно,
тебе вручается впервые.

Какой укор, что за сентенция!
На фоне эйфелевых вышек
ушедшая во тьму Венеция
тебя заносит в скорый список.

Евгений Рейн

Ты станешь буквой крупной прописи,
пробелом в безымянном тексте,
и пусть, что было — было попусту,
а важно только то, что вместе.

2002

ХИТРОУ

Мой лучший адресат

«Конкорд» клюет над Хитроу,
английское утро промыто.
И кажется мне порою,
что я дошел до лимита.
Что все, как у рака, в прошлом,
а здесь только ланч с «маргаритой».
Я стал не дохлым, а дошлым
с полузабытой обидой.
Я стал не умным, а ушлым,
сменял овцу на корову.
Могу атлантическим утром
Спокойно взлететь над Хитроу,
Куриль махорку и «Данхилл»,
Пить даже сухую воду.
Ко мне мой хранитель-ангел
не смог дозвониться по коду.
И вот я сижу у стойки,
уже не считаю «дринки»,
все лестницы мне пологи

Евгений Рейн

еще пока по старинке.

И бабы еще интересны,

и впору еще костюмы,

и есть адресок на Пресне,

где можно прилечь без шума.

Но здесь, в Хитроу, Хитроу,

за милю до океана,

я знаю, я чувствую кровью,

что поздно, и что еще рано.

2003

ТРУБНАЯ ПЛОЩАДЬ

Мой лучший адресат

Там две горы. Одна к другой идет.
И между ними — улица распадом.
И сколько бы не стоил переход,
Он ерунда, когда тебя нет рядом.
Я прожил здесь военные года,
Я помню «мессершмиты», помню «тигры»,
Я помню, как сдавали города,
Как Химок немцы в октябре достигли.
И помню я сорок четвертый год,
Медаль «Освобождение Будапешта»,
Через бульвар натоптанный проход,
Где было облюбованное место.
Там торговали сладенькой водой
Под именем любимым «газировка».
И прятал лейтенантик молодой
В карман купюры, сложенные ловко.
Я помню «Парк культуры», где стоял
Немецкий танк с пробоиной корявой,
Я помню, как на Киевский вокзал

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

Пришел победный эшелон со славой.
И вот теперь в разъезженном такси
Мы с горки забираемся на горку.
И сколько ты не плачь и не проси,
Мне не уехать к твоему Нью-Йорку.
Поскольку все со мной случилось здесь,
Печатников зияет переулок,
На эту гору скудную залезть —
Есть лучшая из мировых прогулок.
Ведь снова жизнь не спеть, не повторить,
Она нас настигает и пленяет.
Ну, чем меня ты можешь одарить?
А прошлое вовек не изменяет.

То и это

Мой лучший адресат

За «Флорианом» на столбе Пьяцетты
грамотный львенок читает книгу.
Что он читает? Бог его знает,
то ли Евангелие, то ли меню «Флориана».
Если Евангелие, значит, от Марка,
если меню, то кофе-эспрессо.
Сядем, товарищ, закажем эспрессо,
граппы графинчик, салат с моццарелой.
Вспомним, товарищ, шашлычную на Разъезжей,
пара «Жигулевского», водка и сациви.
Пробежали годы, улетели самолеты,
кто во «Флориане», а кто на Разъезжей,
а, по сути, это – небольшие перемены.
Сациви не хуже сыра «моццарелла».
И ты вспоминаешь Разъезжую и Чернышева,
а я вспоминаю «Флориан» на Пьяцетте.
Вот если бы нам два столика сдвинуть,
заказать то и это, заказать то и это,
вот тогда бы жизнь удалась,



ЕВГЕНИЙ РЕЙН

вот тогда бы мы поднабрались.
Играют Шопена у «Флориана»,
пускают Лещенко на Разъезжей,
а после граппы и после водки –
все одно и то же, все одно и то же.

2004

НАБЕРЕЖНАЯ

Мой лучший адресат

Переходя Николаевский мост от площади к Румянцевскому скверу,
глядя на закат, на корабельные краны,
на лайнеры у гранитной стенки,
я понимаю, что выбрал судьбу не по карману,
словно булочку с маком на большой переменке.

Когда-то она была огромна, уходила за океаны,
поднимала якоря, разводила пары на полную мощность,
а кончилось тем, что я за стойкой перемываю стаканы,
подаю коктейли и прочую сочность.

А я уже было, сложил чемоданы,
выправил билет и отметил визу,
но не по зубам оказались мне заморские страны,
столь притягательные сверху и недоступные снизу.

Я был кочегаром, возил контрабанду,
прятал наркотики между переборок,
и однажды подвел я свою команду,
и меня уволили. Теперь мне за сорок.

И вот я на набережной в баре Морского клуба
торгую на фунты и марки, и доллары и песеты,
отвечаю по-английски, случается, что и грубо,
словно капитан, вернувшийся с того света.

А на самом деле меня тошнит от валюты,
от пустых стаканов, от виски «Белая лошадь»,
и вся моя радость, что каждые две минуты
я могу обернуться на Исаакиевскую площадь.

Там, среди поля зеленеющего разнотравья,
серый всадник на сером коне давит серую змейку,
да великий собор в колонной оправе
приглашает уставших присесть на скамейку.

В десять кончается моя работа,
приходят приятели выпить пива,
и хотя за пазухой посасывает что-то,
я догадываюсь, что все сложилось счастливо.

Приятели выпивают по второй и по третьей,
валютчик меняет стодолларовые купюры,
основатель клуба на гравированном портрете
что-то соображает о падении конъюнктуры.

А когда смеркается и зеленеет над Петроградской,
я иду на кораблик, приставший у зоопарка,
и обои в кабинетике иностранной окраски
напоминают все то, чего мне не жалко.

Мне не жалко Флоренции с ее Уффици,
мне не жалко Венеции с ее каналом,
точно так же здесь можно закусить и напиться,
и подумать о лучшем — о самом малом.

Как вернусь я к себе на Подъяческую, поставлю чайник,
вытащу из холодильника «Куин Мэри»,
сам себе хозяин, мудрец, начальник,
сам себе адмирал, по крайней мере.

А белая ночь залетает в грязные окна,
кто-то ночью звонит и бросает трубку,
то ли он сигнал подает условный,
то ли просто так, несерьезно, в шутку.

Так и жизнь пройдет, и в осенний вечер
запестрят на Неве нефтяные пятна.
Вот и все — похвалиться мне будет нечем,
что понятно, но, в общем — невероятно.

Мой лучший адресат



Если доллар меняется на пять франков, если
шекель всего полдоллара стоит,
то гоняться за миллионом, сказать по чести,
может быть, и вообще не стоит.

Надо просто стоять у своей палатки,
и обсчитывать пьяных на две-три монеты,
и глядеть, как у императора на полянке
фонари освещают остатки лета.

Скоро ночь, и мосты разведут над Невою,
и пройдут буксиры, склонивши трубы,
и тогда я сам от себя не скрою,
почему мои мелочи так мне любы.

И так будет устроено ясно и вечно:
нефть, оружие, алкоголь, подарки,
и за все расчетливо и беспечно,
кто-то сдачу отсчитывает без помарки.

И пускай от полюса до Гольфстрима
все курсируют сухогрузы, танкеры, яхты,
я стою — а они проплывают мимо,
только склянки бьют на полночной вахте.

КОМНАТА ЛОСЕВА

Мой лучший адресат

Л.Л. с великой любовью

Сто стоптанных ступеней на чердак
Вели меня к замызганной квартире,
Куда я поднимался кое-как,
Там было человека три-четыре,
Нарезанная грубо колбаса,
Бутылка водки, теплые пельмени,
В мансарде разбегались голоса,
По потолку бродили косо тени.
Начало жизни стучало в окно,
Мы были откровенны и размыты,
И все слепились в торжище одно, —
Таланты, пустомели, паразиты.
И все-таки, когда гляжу назад,
Там и была еще живая завязь,
И вечно слышу: гулко голоса
Товарищи, на клички отзываясь.
Так, ни о чем, а просто потому,
Что молоды, что нахватались слухов,
Я сам, не уступая никому,
Главенствую, какой-то вздор застукав.

Евгений Рейн

Теперь, перед печальной чередой
Обратного, по одиночке, спуска,
Отмеченные траурной каймой,
Отмеренной то широко, то узко...
Я думаю, что лучший некролог
Не здесь, в конце, а вовсе там, в начале,
Все потому, что общий путь пролегал
В ту пустоту, где мы и замолчали...

2004

ФОНАРНЫЙ ПЕРЕУЛОК

Мой лучший адресат

всем Штернам, с неизбывной любовью

Огромный, круглый стол и пол-окна,
Буфет, похожий на собор двуглавый,
И переулка темная стена —
Вот здесь мы собирались всей оравой.
Хозяйка, танцевавшая чарльстон,
И дочь-очкарик, да и зять-очкарик,
Разболтанный, но громкий патефон,
Герой-любовник — Драгоманов Алик.
Большой плакат: «Все будет хорошо!»
Горячие пельмени под сметану...
Достаточно, чего же нам еще?
Я это вспоминать не перестану.
Покойный кинорежиссер Илья,
И будущий нобелиат острили,
Конферансье здесь выступаю я —
Мы, как к себе, в квартиру приходили.
Еще никто не собирался в путь,
В Нью-Йорк, в Париж, в чужое захолустье,
И надо было только намекнуть,

Евгений Рейн

Что завтра будет лучше, много лучше.
Мне не забыть Фонарный никогда,
Снимаю кепку, слезы вытираю.
Сегодня или завтра — навсегда
Явлюсь туда, и снова все узнаю.
Опять пластинка запоеет чарльстон,
Опять отец заговорит о прошлом,
Опять со всех подветренных сторон
Повеет неизбывным и хорошим.
Опять я стану врать или дурить,
Припоминать катрены Гумилева,
Нам остается только ждать и жить.
А жизнь — вот здесь. Она на все готова.

2005

РАННЕЕ УТРО

Мой лучший адресат

Выжлятник уже поджигает пожар,
Вставай, просыпайся, Иосиф!
Засыпан снегами знакомый бульвар,
Разносится посвист полозьев.
Я здесь помолчу неизвестно о ком,
Шагая светающим Невским,
Но приторный кофе с густым молоком
По синим течет занавескам.
Я здесь постою на законном ветру
Проспектов пустых Петрограда.
Свое со стекла отраженья сотру —
Такая мне будет награда.
Волхвы не боятся могучих владык,
И княжеский дар им не нужен,
Волхва не приманишь на сочный балык,
Не втянешь в обкомовский ужин.
А утро спешит по Фонтанке моей,
И дует в железную спайку.
И вот я стою у закрытых дверей,
Где зеркало корчит всезнайку.

ПЕЙЗАЖ

«Старый буфет извне,
так же, как изнутри,
напоминает мне
Нотр-Дам де Пари».
Ну, и что? Ну, и что?
Где твой старый буфет?
Дом, ботинки, пальто?
Ничего уже нет.
Есть пустота, развал,
Перепахан газон,
Флот потоплен, и пал
Старый твой бастион.
Там, за Литейный, за
Преображенский собор,
Кто-то заводит глаза
И говорит: «Nevermore».
Кто-то стоит на углу —
Там стоянка такси,
Авто загибает дугу,

Скажем ему «мерси».
Сядем в старый «москвич» —
Есть и такие еще,
Ржавый, побитый, корич-
невый, но ничего.
Едем туда, туда,
Сам не знаю, куда,
Может быть, на острова,
Может быть, в храм Покрова.
Там поставим свечу,
И на Елагин потом,
Что я сказать хочу,
Что-нибудь ни о чем.
Нас привезет назад
Бешеный BMW,
Ночью тени скользят,
Ходят огни по Неве.
В доме твоём в углу
Где-нибудь на полу
Мы под старым пальто
Крепко заснем за то,
Что были так ни к чему
Там, где царит резон,
Что непостижно уму

Евгений Рейн

И растрawляет сон.
Промаемся так до утра,
Вот и пришла пора:
Тебе надо в дантов круг,
А мне на север и юг.
Проводи меня до дверей,
Опохмелиться налей,
Прощай, обними, скажи,
Ведь рядом нет ни души.
Только лишь ты и я,
Пришла за тобой ладья,
Ты на том берегу
В облаке темноты,
Что я сказать могу?
То, что я — это ты.

2005



Через море видится все ближе
зыбь времен и давняя печаль.
Если бы пространство переплывши,
выйти мне на площадь Этуаль.

Где стоишь ты в шелковой футболке,
нагло сигаретку прикусив.
Вот и все. И бродят только толки.
Говорят, что я и нынче жив.





DEUS CONSERVAT OMNIA

Мой лучший адресат

«Бог сохраняет все, особенно слова...»

Иосиф Бродский

Нью-Йорк. Сентябрь 1988 года. Евгений Рейн и Иосиф Бродский укрывались от осеннего зноя в крошечном садике, примыкавшем к полуподвальной двухкомнатной квартирке Бродского на Мортон-стрит в Гринвич-Вилледж. Это была их первая встреча после отъезда Иосифа в эмиграцию в 1972 году. Друзья говорили о своей молодости, вспоминали родителей и общих приятелей. Эта беседа записывалась на диктофон, поскольку предполагалось, что в недалеком будущем на основе записей начнется работа над сценарием фильма о нобелевском лауреате. Фильм, впрочем, не был снят, но запись разговора, сохранилась, ценность ее состоит, прежде всего, в том, что собеседники искренни, не боятся оговорок, вспоминают курьезы, о которых умолчали бы в интервью с посторонним лицом. Один из фрагментов разговора относится к знакомству поэтов:

Е.Р. Скажи, а когда ты с литературной жизнью Ленинграда познакомился?

Кстати, это было еще до нашей встречи?

И.Б. Это было до нашего знакомства, но это было почти одновременно... Ты ведь помнишь свое обсуждение в Промке?

Е.Р. Да, это замечательно смешная история. Я только потом сообразил, что это был ты.

О самой первой встрече с Иосифом Бродским Евгений Рейн вспоминает: «Середина пятидесятых годов. Какие-то диковинные литературные кружки в Ленинграде. Ходят слухи о новом поэте. Я не слышал ни одного выступления Иосифа в ту пору. Кажется, он читал «Еврейское кладбище в Ленинграде» и тотчас угодил в какую-то газетную травлю. Но произошло одно забавное происшествие. Был мой первый поэтический вечер «городского масштаба». Проходил он в знаменитой Промке — доме культуры Промкооперации на Петроградской стороне. Я прочитал стихи, друзья похвалили. Вдруг слово попросил юноша из публики. Выпустили его на трибуну неохотно. Председатель вечера Лев Мочалов славился осторожностью.

Юноша в зеленой штормовке поднял руки к кумачовым плакатам, облепившим зал. Это было время кампании за химизацию. «Химия, — было написано на плакате, — это...» — и далее шло перечисление всяческих незамедлительных благ, что принесет с собой «химизация всей страны». Юноша патетично прочел лозунг: «Вот, — сказал он, — вот, чем дышит время, а о чем пишет Рейн?» Далее он некой ловкой параболой сравнил мои стихи с лозунгами, уже отброшенными. Все это походило на иронический розыгрыш.

Мочалов задумался и лишил оратора слова. Затем на трибуну поднялся очередной мой приятель. Только три или четыре года спустя я сообразил, что это был Бродский».

Это происходило в 1958 году.

Бродский и Рейн не могли без смеха вспоминать этот анекдотический случай спустя 30 лет, сидя на другом конце земного шара, в самом грандиозном городе мира. Это был смех победителей, преодолевших Время и Пространство, сохранивших дружбу и поэтическую связь вопреки всем властям и всем режимам.

Дружба истинных поэтов — нечто особое. Отношения Рейна и Бродского — случай уникальный, оба ставили дружбу превыше всего, они не только искренне любили друг друга, но также искренне любили стихи друг друга. Во всей истории литературы, пожалуй, больше нет такого примера неревнивого восприятия творчества товарища по цеху. Начавшись в конце 50-х годов, эти

отношения не прекратились с отъездом Бродского в эмиграцию, шестнадцать *Мой лучший адресат* лет общение происходило посредством писем и регулярных, раз в один-два месяца, телефонных звонков. Поэтический и человеческий диалог не прекращался никогда. Именно об этом диалоге писал Евгений Рейн в стихотворении «В Новую Англию».

Да, диалог не прекращался. Поэтому, встретившись в 1988 году, они растерялись только в первый момент. Ведь, как верно подмечено, голоса не стареют, только зубы и волосы выпадают, меняется только внешность. Действительно, в первый момент Рейн не узнал Бродского в аэропорту Кеннеди. Но по пути в Нью-Йорк, за полчаса, проведенные в машине, кинолента времени раскрутилась вспять. И к моменту, когда они вошли в квартиру Бродского на Мортон-стрит, все встало на свои места: постаревшие приятели словно и не расставались.

Им оставалось дружить еще восемь лет. До того дня, 28 января 1996 года, когда в Москве, в квартире Рейна раздастся звонок с сообщением о смерти Иосифа Бродского. В последний раз они дважды говорили по телефону незадолго до этого: 29 декабря звонил Бродский, и, как всегда, поздравлял Рейна с днем рождения, а 7 января звонил Рейн и поздравлял Иосифа с русским Рождеством.

После смерти Иосифа Бродского я стала приводить в порядок наш архив: письма, автографы, стихи, рисунки, фотографии, книги. Среди стихов — множество посвящений, забавные стишки «на случай», очень любопытные заметки на полях подаренных поэтических сборников. Занимаясь архивом, я параллельно стала отбирать в отдельную папку стихи Рейна, так или иначе связанные с Бродским. Это — посвящения, обращения, стихи, где Иосиф является персонажем, стихи, где он присутствует явно или незримо, стихи со скрытым цитатами и аллюзиями. В эту папку вошло также раннее стихотворение «Японское море», которое Иосиф очень любил, о чем свидетельствует его пометка в сборнике «Урания»: «О, иностранное слово среди пароходного шума!» — написал он рейновскую строку на полях «Нового Жюль Верна». И хотя, «Японское море» не было посвящено Бродскому (равно, как и «Новый

Жюль Верн» посвящен не Рейну, а Льву и Нине Лифшицам), оно также попало в эту папку. А все собрание стихотворений предваряется рейновским двустишием, которое Бродский очень любил и постоянно цитировал.

В результате получилась книга, название которой возникло само по себе — это строка из стихотворения Рейна. В книге нет никакого специального деления на части, хотя, разумеется, периоды вполне угадываются по датам: 1958—1972, 1973—1988, 1989—1995, и, наконец, стихи, написанные после 28 января 1996 года.

Совсем недавно мной было обнаружено еще одно письмо Бродского, по случайности лежавшее в коробке с письмами Ильи Авербаха. Это письмо отправлено Бродским из Якутска в 1961 г., где он работал в геологической экспедиции. Письмо начинается так: «Хиромант и некрещеный человек М.К. предсказал мне земное существование до 55 лет...» М.К. — это общий приятель Бродского и Рейна, Михаил Красильников, ныне, увы, тоже покойный. Сейчас уже невозможно выяснить что-либо об этом предсказании, главное, что оно сбылось. Факсимильным воспроизведением этого предсказания я решила отделить стихи, написанные после 1996 года.

Так постепенно сложилась эта книга — дань памяти и любви.

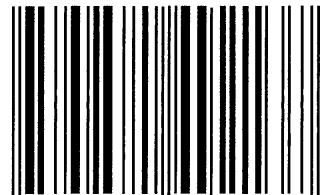
Надежда Рейн

ЕВГЕНИЙ РЕЙН
Мой лучший адресат...
стихотворения

Художник
АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Компьютерная верстка
КОНСТАНТИН МОСКАЛЕВ

ISBN 5—88149—213—7



9 785881 492137

Подписано в печать 7.11.2005
Гарнитура НьюБаскервильС
Формат 100х70/16
Печ.л.18,0. Тираж 3000
Заказ 3026

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»
105005, Москва, ул.Фр.Энгельса, 46